

Марк Твен

Жанна Д'Арк



Марк Твен Жанна д'Арк

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5025951

Марк Твен. Жанна д'Арк: РИМИС; Москва; 2013

ISBN 978-5-9903348-7-8

Оригинал: Mark Twain, "Personal Recollections of Joan of Arc"

Перевод:

Иероним Иеронимович Ясинский

Аннотация

Главное действующее лицо романа Марка Твена «Жанна д'Арк» – Орлеанская дева, народная героиня Франции, возглавившая освободительную борьбу французского народа против англичан во время Столетней войны. В работе над книгой о Жанне д'Арк М. Твен еще и еще раз убеждается в том, что «человек всегда останется человеком, целые века притеснений и гнета не могут лишить его человечности».

Таким Человеком с большой буквы для М. Твена явилась Жанна д'Арк, о которой он написал: «Она была крестьянка. В этом вся разгадка. Она вышла из народа и знала народ». Именно поэтому, – писал Твен, – «она была правдива в такие времена, когда ложь была обычным явлением в устах людей; она была честна, когда целомудрие считалось утерянной добродетелью... она отдавала свой великий ум великим помыслам и великой цели, когда другие великие умы растрачивали себя на пустые прихоти и жалкое честолюбие; она была скромна, добра, деликатна, когда грубость и необузданность, можно сказать, были всеобщим явлением; она была полна сострадания, когда, как правило, всюду господствовала беспощадная жестокость; она была стойка, когда постоянство было даже неизвестно, и благородна в такой век, который давно забыл, что такое благородство... она была безупречно чиста душой и телом, когда общество даже в высших слоях было растленным и духовно и физически, – и всеми этими добродетелями она обладала в такое время, когда преступление было обычным явлением среди монархов и принцев и когда самые высшие чины христианской церкви повергали в ужас даже это омерзительное время зрелищем своей гнусной жизни, полной невообразимых предательств, убийств и скотства».

Позднее М. Твен записал: «Я люблю «Жанну д'Арк» больше всех моих книг, и она действительно лучшая, я это знаю прекрасно».

Содержание

Предисловие редактора	6
Жанна д'Арк	13
Особенности истории Жанны д'Арк	14
Книга первая	15
Глава I	15
Глава II	16
Глава III	17
Глава IV	25
Глава V	29
Глава VI	34
Глава VII	39
Глава VIII	43
Глава IX	47
Книга вторая	49
Глава I	49
Глава II	50
Глава III	54
Глава IV	58
Глава V	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Марк Твен

Жанна д'Арк

В оформлении книги использованы работы художников: Frank Vincent DuMond, Joseph Navlet («Capture de Jeanne d'Arc devant Compiègne») и Hermann Stilke («La vie de Jeanne d'Arc»).





*This is the authorized
Uniform Edition of
my books.*

Mark Twain


Предисловие редактора

В середине XIV столетия Англия превратилась в сильное государство с королями, подавившими независимость дворян-феодалов, и с парламентским строем, ограждавшим интересы мещан. Во Франции еще процветала феодальная система, был король, но были и почти независимые вассалы, когда Франция стала воевать с Англией, причем война эта длилась страшно долго. Английская армия, как более дисциплинированная и более народная, обыкновенно била французскую, состоявшую из рыцарей, не любивших повиноваться. Английские короли одерживали победы, и Эдуард I на первых порах назвался королем Франции. Видя, что рыцари – плохая защита отечества, французские мещане взбунтовались против дворян. И восстали также крестьяне по всей стране. Эта борьба между рыцарством и мещанством затянулась. А на французском престоле, кстати, сидел сумасшедший король Карл VI. Англичане постепенно завладевали страной, бургундцы стали на их сторону, и вдобавок у англичан был хороший король Генрих V, который, разбив французов у Азенкура, стал их королем, но вскоре умер, и сын его Генрих VI унаследовал французскую корону. А так как он был малолетний, то регентом Франции был назначен дядя его, жестокий и надменный герцог Бедфорд. У бывшего французского сумасшедшего короля, тоже умершего, имелся истасканный, двадцатитрехлетний, робкий женатый сын, которого часть дворян провозгласила королем Франции.

Карл VII жил в замке Шинон и занимался тем, что бормотал молитвы и забавлялся в кругу своих придворных пажей и красавиц. Дворяне потому остановили на нем свой выбор, что у него были все-таки средства, он любил вкусно поесть и попить, поохотиться на крестьянских полях и побездельничать; полагали, что он сумеет, во всяком случае, защитить падающее дворянство не столько от англичан, сколько от мещан. А мещане признали его королем, когда узнали, что ему нет житья от дворянчиков, и они жалели его, принужденного бегать от англичан, и им стыдно было измены бургундцев. Тут еще подоспело то обстоятельство, что англичане смотрели на Францию как на чересчур легкую добычу. Анатолий Франс в своем сочинении «Жизнь Жанны д'Арк» отмечает, что во Франции во времена, когда Карл VII был еще дофином, занималась грабежом, скорее чем войною, всего горсть англичан. Воюющие стороны от войны почти не страдали, жертвами ее были монахи и монахини, мещане и крестьяне; в особенности страдали крестьяне, так как их грабили обе стороны. У англичан были длинные зубы, но щука все-таки не могла проглотить быка. Английские гарнизоны были ничтожны.

В то время, когда народ льнул к Карлу VII, а англичане были уверены в своих силах и думали, что можно Францию удержать в покорности без особых жертв, крестьяне, изверившиеся в рыцарях, стали собираться, волноваться, искать брода, взвешивать силы страны и будить от бездействия те государственные стихии, призвание которых было стоять на страже ее безопасности. Страна изнемогала, волновалась, нервничала, стали распространяться слухи о чудесах. В то время вера в чудеса была особенно велика. Верили в святых и верили в русалок, в нимф, которых когда-то обожали язычники, в судьбу, в «Фатальных дев», живущих в лесах и у фонтанов, где собирались время от времени и предавались пляскам, как это делается у нас до сих пор в ночь на Ивана Купалу. В числе легенд, которые стала распространять патриотическая молва, занятая изобретением средств спасения государства, стало все чаще и чаще повторяться пророчество о Деве, которая должна выйти из дубового леса, и к ее ногам падут лучники, т. е. солдаты, вооруженные луками и стрелами. Кроме того, прибавлялось, что ожидаемая Дева будет из крестьянок и пострадает за грехи королевы Изабеллы, которая продала врагу своего сына и Францию и вооружила бургундцев против французов. Семена чудесного возбуждения и патриотического воодушевления носились в

воздухе, и нужна была только наиболее благоприятная для них почва. Такой почвой явилась деревня Домреми, бывшая, как и многие другие деревни, яблоком раздора между мелкими окрестными вассалами. Когда же в игру вмешались англичане, положение Домреми стало особенно острым. Близ Домреми находились священные источники и чтимые искони деревья. Народ был набожен и суеверен. В сравнительно богатой семье местного крестьянина Жака д'Арка родилась в 1410 или в 1412 году дочь Жанна, и над нею местный кюре при крещении произнес множество заклинаний, чего не делалось при крещении мальчиков: женской природе вообще тогда мало доверяли и считали ее предрасположенной от рождения к сношению с дьявольскими силами. Этой Жанне суждено было сыграть одну из самых поразительных ролей в истории не только Франции, но и целого мира.

Надо заметить, что биография Жанны д'Арк изучена с необыкновенной тщательностью, и она отличается редкой полнотой и точностью. Известен каждый шаг чудесной девушки, имена всех ее родственников и родственниц, подруг, ее разговоры, ее маршруты, платья, в которые она одевалась, каждое ее слово. Жанна д'Арк, несмотря на всю свою легендарность, самая историческая личность древней и средней истории по богатству сохранившихся и разысканных подробностей ее необыкновенной жизни. Воспитывалась она в родительском доме, который весь зарастал весной белыми и красными цветами. Выросла она на черном хлебе и была приучена к суровому труду, а мать ее, приходившаяся сестрой одному священнику, научила ее молитвам «Отче наш», «Богородица» и «Верую» и рассказала ей о житии нескольких святых. Таково было образование Жанны д'Арк, оставшейся неграмотной. По праздникам она ходила в церковь. А по окончании полевых работ она или пряла, или шила, или пасла коров и лошадей в окрестностях. Жанна была благочестива, никогда не божилась и часто любила уединяться под ветвями огромного дуба, где водились феи. Жанна простодушно верила, однако, что они за грехи свои были изгнаны когда-то священником и в последний раз жили под буком лет тридцать назад. Около этого бука крестьянки танцевали в известные дни, танцевала и Жанна и вешала венки на дерево в честь Божьей Матери. Источник, который струился у корней бука, был чудодейственный – его воды излечивали от лихорадки. Там же праздновали весну – крестьяне делали «майского человека» из цветов и листьев. А так как недалеко росла трава «адамова голова» (мандрагор), которая делала богатым того, кто, преодолев ночные страхи, успевал вырвать ее с корнем, то место это пользовалось не совсем хорошей репутацией у соседей Домреми, которые верили, что жители Домреми все-таки сносятся со злыми духами. Еще будучи семи лет, Жанна была свидетельницей кровавых столкновений враждующих дворян из-за деревни Домреми, часть которой считалась свободной, а часть населенной крепостными людьми. Братья Жанны являлись домой, облитые кровью. Все дворяне и бароны, а также и иностранные грабители-англичане, были того мнения, что как ужин без горчицы, так война без пожаров ничего не стоит. Воюющие стороны жгли по ночам крестьянский хлеб для освещения позиций.

Среди таких обстоятельств, в такой лихорадочной атмосфере развивалась и росла Жанна д'Арк – красивая, стройная девушка, с розовой кожей, с черной, как смоль, косой, с чарующей улыбкой, с яркими невинными глазами, то веселая и бодрая, то вдруг задумчивая и набожная.

А дела во Франции шли все хуже. Домреми лежала на большой дороге, и в этой деревне раньше других знали все новости. Англичане занимали в это время Нормандию, Мэн, Пикардию, Иль-де-Франс, захватили Париж. В Домреми, разумеется, ненавидели англичан больше, чем своих родных грабителей, – их называли злыми ангелами и уверяли, что они с хвостами. Ужасы нагромождались на ужасы. Крестьяне были ограблены до нитки, по стране носились банды разбойников, английских и французских, забирали вино, хлеб, серебро, и чего не могли взять – сжигали, насиловали женщин, детей, монахинь, мужчин уводили в плен. Почти ни одна мельница не работала в стране. Сельские работы были прекращены.

Жанне было тринадцать лет, когда она, находясь в саду своего отца, услышала голос справа по направлению от церкви, сопровождаемый ярким светом: «Жанночка, я от Бога пришел помочь тебе вести себя хорошенько. Жаннет, будь доброй!» На другой день голос повторил: «Жанночка, будь доброй!» Она не знала еще, что это за голос. Но в третий раз догадалась, что с ней говорит тот архангел Михаил, которого она видела в церкви в броне и с копьем, пронизывающим демона. Как раз около этого времени в Домреми распространилось известие о том, что укрепление на горе Михаила-архангела отразило англичан. Еще раз услышала голос архангела Жанна, и он объявил ей, что к ней придут на помощь также святая Катерина и святая Маргарита. Этих святых Жанна тоже видела в церкви нарисованными на стене. Когда обе святые наконец явились ей, как обещал архангел, она дала им обет хранить невинность. Это было на границе двух возрастов – отроческого и женского, и биография Жанны утверждает, что женщиной она никогда не сделалась. Святые вскоре завязали с Жанной добрые отношения. Они являлись к ней то в саду, то у источника. В ответ на ее поклон, они вежливо раскланивались с ней. Утром она яснее различала их голоса. Архангел Михаил стал реже посещать Жанну, но однажды он рассказал ей, в каком горе находится Франция, и приказал ей покинуть деревню. «Ступай во Францию», – сказал он. Анатолий Франс подозревает, что истолкователем видений Жанны был какой-нибудь священник или церковник, указавший ей путь к выходу из ее волнений и колебаний. Жанна часто бывала у священников и у монахов. Дядя у нее был тоже, как известно, священник.

Так или иначе, в ответ на слова архангела она отвечала: «Я бедная девушка, не умею ездить верхом и воевать».

А обе святые сказали ей:

– Отец Небесный даст тебе знамя, смело разверни его, и Бог тебе поможет.

Жанна долго готовилась; архангел опять явился и сказал: «Дочь Божия, ты поведешь дофина (так крестьяне называли некоронованного короля своего) в Реймс, и там он будет помазан на царство».

Тогда открылось Жанне ее призвание, и она поняла, что надо повиноваться. Отец хотел ее выдать замуж, но Жанна отказалась наотрез и отправилась в лагерь к ближайшему генералу Бодрикуру с известием, что она избрана Господом короновать дофина в Реймсе. Бодрикур был солдат и, увидев девушку в красной рваной юбке, сказавшую ему: «Я пришла к вам, чтобы вы попросили дофина держаться и не заключать мира с врагами, и это по воле Господа», – генерал спросил: «Какого Господа?»

– Небесного Царя! – вскричала молодая девушка.

– Отведите-ка ее к родителям, – сказал Бодрикур, – и пускай ее хорошенько нашлапают.

Но во время аудиенции Жанны у Бодрикура было несколько жантильменов, которым понравилась странная девушка. Не сразу, но загорелся народ, стал собираться вокруг Жанны, и уверовали в ее призвание земляки. Ее снарядили в поход. Такое царило возбуждение, что вид Жанны, одетой по-мужски, в сапоги со шпорами и при мече, зажег к ней сердца. Она сделала шестьсот верст в десять дней и прискакала к дофину в Шинон. Бодрикур, в конце концов дозволивший ей это путешествие, был в душе того мнения, что Жанна одержима дьяволом: по толкованию одного священника, она могла проглотить дьявола в хлебе. Впрочем, Жанна выдержала испытание святой водой.

Есть еще данные, что Жанна д'Арк из Вокулера, которым управлял Бодрикур, совершила предварительно путешествие в Нанси, к герцогу Карлу II, союзнику англичан, который, прослышав о ней, потребовал ее к себе в надежде получить при помощи ее благочестия или колдовства излечение от своих старческих недугов. Она отвечала, что ему следует бросить возлюбленную, с которой он жил, и соединиться с покинутой женой, и получила от него в подарок четыре франка и черного коня. Из Нанси Жанна послала родителям письмо (продиктованное ею) с просьбой простить ее, так как отец обещал ее утопить собственными

руками за ее похождения. Родители простили, соседи убедили их, что Жанна, добившись свидания с королем, будет осыпана милостями. Путь к дофину Жанна прошла со своими людьми без всяких столкновений с англичанами, но шайка французов хотела захватить ее в плен и держать в подземной тюрьме в расчете, что король выкупит ее; этим в то время промышляли. Но отряд Жанны был вооружен, и разбойники не посмели напасть. В феврале 1429 года Жанна добралась до Шинона. Долго не допускали ее. Доктора богословия прежде всего заподозрили, что она ведьма. Не дальше как двенадцать лет тому назад, в 1417 году, стала пророчествовать женщина из Невшато, но вовремя была усмотрена епископом и сожжена живою в Монпелье. Духовные лица стали спрашивать Жанну, зачем она пришла. Она отвечала, что явилась по поручению Царя Небесного снять осаду с Орлеана и короновать в Реймсе дофина.

Мнения ученых специалистов о Жанне разделились.

Одни находили, что она обманщица, другие – что король все-таки должен ее выслушать. Надо заметить, что король, постоянно советовавшийся с астрологами, уже узнал от одного из них, что Франция будет спасена вмешательством девственницы. Другой престарелый астролог Пьер подтвердил в Шиноне, что он прочитал в небесах о поражении англичан французскою пастушкою. Вообще в то время, как мы уже отметили раньше, была распространена вера в спасение трона девственницею.

Король с нетерпением ожидал Жанну и принял ее в большой зале вечером при свете пятидесяти факелов. Собрание было многочисленное. Никогда не видела Жанна ничего подобного, но не растерялась. Одета и подстриженная по-мужски, она сняла свою шерстяную шапочку, сразу узнала короля, который прятался за толпу придворных, подошла, поклонилась и сказала: «Да пошлет вам Господь добрую жизнь, милый дофин».

Король не отличался величественной наружностью. Держаться он не умел, был невзрачен. Портретов его еще не было. Поэтому все удивились, что она сразу подошла к Его Величеству. Король увидел в этом знамение, отвел в сторону Жанну и стал с нею толковать. В душе он сомневался, настоящий ли он сын короля, но Жанна уверила его, что он истинный наследник и несомненно королевский сын, и это так понравилось ему, что он возымел к ней доверие и ласково отпустил ее. Потом он часто с ней видался, гулял, познакомил со своими родными. Герцог Алансон стал приверженцем Жанны. И, наконец, ее отправили для окончательного исследования и испытания в Пуатье. Вопросы, с которыми стали обращаться к ней тамошние ученые и судьи, часто раздражали ее, она отвечала резко, но всегда остро. Когда ее старались сбить в правилах веры, она гордо отвечала: «Небесные книги лучше ваших земных». – «А на каком языке говорят голоса, которые вы слышите?» – «На лучшем, чем ваш». Жанна через шесть недель была признана чистой и добросовестной девушкой. Но оставалось убедиться, невинна ли Жанна. Только невинные девушки могли быть сосудом божественности. В тех случаях, когда девушка становилась орудием дьявола, она прежде всего теряла свою чистоту. Были созваны все местные выдающиеся бабки, вдовы и дамы. Первое место между ними занимала герцогиня Анжуйская. Жанна д'Арк была признана девственницей. После этого король назначил ее главнокомандующим всех своих армий.

В Туре, который славился и портными, и мастерами рыцарских доспехов, с Жанны была снята мерка. Ей были сделаны белые доспехи за весьма умеренную цену. Плащ был сделан из шелковой ткани с серебром и золотом. Когда Жанна летела на коне, плащ трепетал вокруг нее, как два крыла. Король предложил ей лошадь из своей конюшни. Так совершилась чудесная и единственная в своем роде карьера крестьянки Жанны.

Сшив себе знамя с белыми лилиями, Жанна повела войска к Орлеану. По целым дням она не сходила с коня, не снимала доспехов, потребовала от солдат целомудрия, одушевляла в битвах старых воинов своим геройским примером. И когда она пришла к Орлеану, союзники англичан, бургундцы, уже покинули осаждавших, напуганные всеобщим возбужде-

нием и слухами о чудесном полководце. Бросившись на англичан, мужественная крестьянка разбила их и отняла лагерь и пушки. Дофин волновался в Туре, ожидая вестей из Орлеана. Сама Жанна явилась к нему с радостным известием. Он поцеловал ее и не знал, что дальше делать. Начались интриги против победительницы англичан. Опасались, как бы она не околдовала короля. Он колебался и дрожал, когда она стала требовать, чтобы он пошел в Реймс короноваться. Насилу послушался он. Города сдавались Жанне почти без сопротивления.

В какой степени Жанна проявила военный талант, говорят факты сами за себя. Все генералы, которые сражались под знаменем Жанны, считали ее великим полководцем. Она была простодушна и невинна во всем, но герцог Алансон засвидетельствовал впоследствии, что Жанна была чрезвычайно опытна как в приготовлениях к битве, так и в командовании; она умела также очень хорошо распоряжаться артиллерией; ко всеобщему изумлению, она действовала на войско так искусно и благоразумно, словно полководец, за которым двадцать или тридцать лет опыта. Это была единственная личность, которая удостоилась звания главнокомандующего всеми военными силами нации в семнадцатилетнем возрасте! Профессор Трачевский замечает, что Жанна, кажется, напоминала больше всех других полководцев Наполеона I. Русская военная наука в лице генерала Драгомирова также оценила Жанну как выдающегося полководца.

После коронации Карла Жанна была сделана дворянкой, ей пожаловали герб, поселили во дворце. Вся Европа заговорила о ней. Молились на ее портреты. В монастырях пели ей гимны. Она же оставалась такой, как и была, простой девушкой, мечтала только о том, чтобы соединить англичан и французов, примирить их и двинуть на войну с неверными. Когда же она убедилась, что мечта ее несбыточна, стала проситься в деревню к братьям и сестрам, к отцу и матери. Она рисовала себе идиллические картины жизни в деревне: «То-то обрадуются мне», – говорила она. Но ее не отпускали. Дворянам было неприятно, что крестьянка спасла короля, и они старались подорвать ее влияние на него, так как он мог оказать крестьянам разные милости и встать на их сторону в распри с дворянством. Отпустить Жанну в Домреми король был не прочь, но опасался, как бы она не подняла народные массы и не обратила их против трона. Явилась обычная в таких случаях подозрительность. Благодетели и спасители становятся, в конце концов, в тягость. От Жанны стали сторониться царедворцы, и сам король охладел к ней. В ее душу прокралась робость. «Ничего не боюсь, но боюсь измены», – говорила она. И кстати, стали гаснуть ее небесные видения, и голоса, которые она слышала, становились реже, а когда говорили с нею, то были уже неразборчивы, и она не совсем понимала их. Иногда они произносили мрачные пророчества, предвещали ей плен.

Король Карл VII внезапно уехал за Луару. А англичане между тем снова укрепились в Париже. У Жанны не было средств и людей. Осталась только горсть преданных ей авантюристов, с которыми она рискнула, томясь от бездействия, пойти на Париж, но была отбита Бедфордом, ранена и отступила на север, где были сосредоточены главные силы врага. В новой битве с англичанами Жанна потерпела еще раз неудачу, опять отступила и, прикрывая отступление отряда, была окружена союзниками англичан, бургундцами, и взята в плен. Герцог Бургундский немедленно продал ее англичанам. А они привезли ее в Руан в железной клетке. Пять месяцев страдала Жанна.

У профессора Трачевского недурно и довольно точно, и в то же время кратко, описан процесс знаменитой девственницы.

«Ее всячески мучили в темнице: ее сковывали по шее, рукам и ногам; палач приносил орудия пытки и объяснял ей их назначение, злые «трепальщики» (тюремщики) не отходили от нее ни днем, ни ночью, не щадя девичьего стыда. Наконец, нарядили церковный суд из наемных парижских профессоров и французского клира, под председательством епископа Кошона, которому посулили архиепископство. При содействии инквизиции судьи искажали показания Жанны в протоколе, сбивали ее схоластической казуистикой, стращали криками,

осыпали оскорблениями, не давали отвечать: она просила, чтобы, по крайней мере, не все разом закидывали ее вопросами. Но умны и правдивы были ответы праведницы».

«Думаешь ли ты, что душа твоя спасена?» – «Если да, то молю Бога не погубить ее; если нет – молю спасти ее». – «Ненавидит ли Бог англичан?» – «Не знаю; но верно то, что всех их выпроводят из Франции, кроме тех, которые погибнут в ней». – «Хорошо ли сделал твой король, что убил герцога Бургундского?» – «Это было большим вредом для Франции; но что бы ни было между ними, Бог послал меня на помощь королю Франции». Жанна ограничивалась лишь смутными и ироническими ответами, когда затрагивали святую ее души – «Голоса». Невинная девушка вовсе не отвечала на настойчивые вопросы о мужском платье, которое спасало ее от наглости воинов; но она сняла его, когда судьи объявили, что это великая ересь.

«Жанну обвинили в сообщничестве с дьяволом и в ношении мужского платья и обещанием легкого наказания выудили у нее признание справедливости приговора. Англичане разозлились на Кошона за мягкость решения. Но он сказал: «Успокойтесь, она не уйдет от нас». Вскоре после двух покушений с целью глубоко оскорбить Жанну заставили ее снова надеть подsunутое мужское платье – и неисправимая еретица была приговорена к сожжению. Возмущенная наглым обманом, Жанна приобрела прежнюю твердость. «Так скорее же умру, чем откажусь от того, что сделала по приказу моего Господа!» – воскликнула она. Ее спросили: «Подчиняешься ли суду воинствующей церкви?» Она отвечала: «Бог и торжествующая на небесах церковь послали меня; этой церкви я подчиняюсь». Голоса все еще говорили Жанне: «Случится движение, и великая победа освободит тебя». Но когда ей объявили день казни, она рыдала, рвала на себе волосы, восклицая: «Неужели же мое чистое, невинное тело превратится в пепел? О, лучше бы вы семь раз сняли мне голову, чем жечь».

Рыдала жертва и на печальной колеснице: «Руан, Руан! Неужели мне здесь умереть?» Костер поражал своими чудовищными размерами. Долго тянулась церемония с укоризненными проповедями владык и с обвинительными речами юристов. Жанна все что-то думала, потом вдруг пала на колени и, сама прощая всех, просила: «Помолитесь обо мне». Все это было так просто, задушевно, что дрогнула десятитысячная толпа, прослезилась англичане, зарыдал Кошон. Жанна попросила крест и судорожно спрятала его под платье, крепко прижимая к телу. Вдруг заворчали солдаты. «Эй, вы, попы. Обедать мы будем здесь, что ли?» – крикнули офицеры и сами потащили «ведьму» к палачу.

Судьи разбежались в ужасе. Орлеанская Дева воскликнула, озирая город с громадной высоты: «Ах, Руан, Руан. Боюсь, не пострадать бы тебе от моей смерти!» Показался огонь. Вопль отчаяния вырвался из груди Жанны; но вдруг она заметила, что опасность грозит напутствовавшему ее доминиканцу, и стала просить его сойти. «Дурно ли, хорошо ли я сделала, – мой король тут ни при чем; не он внушал мне», – слышалось сверху. Потом раздирающий душу крик: «Воры!» Но вслед затем: «Да, от Бога были Голоса мои; не обманули меня голоса мои». Это ясно слышал доминиканец: он уже стоял внизу, у самого пламени, и поднимал распятие к жертве, голова которой упала на грудь, а губы шептали: «Иисус». Жанна вся превратилась в пепел, который бросили в Сену; уцелело только сердце.

Толпа колыхалась от рыданий. Молча расходились англичане; но один из них сказал товарищам, что в пламени ясно горело слово «Иисус». А другой воскликнул: «Мы погибли, мы сожгли святую». Мученице не было двадцати лет. Поколение спустя французы торжественно «восстановили» доброе имя Орлеанской Девы, доказав церковным следствием, что то не была еретица и ведьма, а на месте казни поставили ее статую. Ее родственники получили дворянство, а земляки – свободу от податей».

Такова историческая канва, на которой Марк Твен вышил цветы своей фантазии, стараясь держаться по возможности правды, насколько это допускают условия исторического романа. Исторических сочинений, посвященных Жанне д'Арк, очень много. Это огромная

литература. Марк Твен воспользовался фактами, пропустив, однако, их сквозь психологическую призму современника, который будто бы был секретарем и пажом Жанны д'Арк. Этот вымышленный сэр Луи де Конт ведет рассказ в виде личных воспоминаний о Жанне, ее походах и страданиях. Американская критика считает роман Марка Твена величайшим из произведений.

Не знаем, в какой степени справился Марк Твен со своей трудной задачей – написать роман так, чтобы он сохранил на себе печать описываемого времени во всех подробностях рассказа. Трудность исполнения заключается еще в том, что автор, при всем своем громадном таланте, не мог в достаточной мере проникнуться духом французского языка и французского народа XV века. Но во всяком случае Марк Твен дал превосходные картины нравов и событий пятнадцатого века – тех дней, когда заканчивалась столетняя распря двух народов или, вернее, двух государств, французского и английского. Образ Жанны д'Арк написан с редкой и великой любовью. Марк Твен называет ее самым благородным очаровательным ребенком на свете.

И. И. Ясинский

(Максим Белинский)

Жанна д'Арк 1870-1895

Эту книгу посвящаю моей жене, Оливии Лэнгдон Клеменс, в годовщину нашей свадьбы, с благодарностью отмечая двадцатипятилетие ее ценной помощи в качестве моего литературного советчика и редактора.

Автор

Примите во внимание это беспримерное и знаменательное отличие: с тех пор, как начали записывать историю человечества, из всех людей, мужчин и женщин, одной лишь Жанне д'Арк в семнадцать лет было вверено верховное командование войсками народа.

Людвиг Кошут



Особенности истории Жанны д'Арк

Примечание английского переводчика

Подробности жизни Жанны д'Арк в своей совокупности составляют биографию, которая стоит особняком среди всех биографий мира, потому что это *единственное жизнеописание, дошедшее до нас под присягой*, единственное, которое дошло до нас со свидетельской скамьи. Официальные отчеты Великого Суда 1431 г. и происходившего четверть века спустя Суда Восстановления хранятся и доньше в Национальных архивах Франции, а в них с замечательной полнотой изложены события ее жизни. Ни одно из остальных жизнеописаний той отдаленной эпохи не отличается такой всесторонностью и достоверностью.

Луи де Конт в своих личных воспоминаниях не расходится с правительственными отчетами, и, по крайней мере, в этом отношении его правдивость не подлежит сомнению; что же касается множества сообщаемых им других подробностей, то здесь остается лишь поверить ему на слово.

Книга первая

Лун де Хонт своим двоюродным прапраправнукам и прапраправнучкам



Глава I

Ныне 1492 год. Мне восемьдесят два года. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли на моих глазах в моем детстве и в моей юности.

Во всех песнях, жизнеописаниях и сказаниях о Жанне д'Арк, которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тисненным новым, недавно измышленным способом книгопечатания, – во всех этих песнях и книгах упоминается обо мне, Луи де Конте. Я – ее бывший оруженосец и писец. Я сопровождал ее от начала до конца.

Я воспитывался в той же деревне, где и она. Когда мы оба были маленькими детьми, я играл с ней каждый божий день, как вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы узнали, как велика была ее душа, теперь, когда слава ее имени распространилась по всему миру, как-то не верится, чтобы мои слова были правдой; это все равно, как если бы недолговечная, тонкая свеча заговорила о неугасимом солнце, озаряющем небеса, и сказала: «Оно было моим собеседником и сотоварищем, когда было еще свечкой, как я».

А между тем я сказал правду истинную. Я был товарищем ее забав, и я сражался рядом с ней в бою; до глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хруп-

кого создания: она припала грудью к шее коня и во главе французских войск несется на врага; ее волосы развеваются по ветру, ее серебряная кольчуга неустрашимо врезывается все глубже и глубже в середину самой жаркой битвы и по временам почти утопает в море мелькающих конских голов, почти скрывается за лесом воздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удары щитов! Я сопровождал ее до конца; и когда наступил тот черный день, который навсегда покроет позором имена убийц, митрофорных французских рабов Англии, и ляжет несмываемым пятном на Францию, празднующую в стороне и ничего не сделавшей для спасения мученицы, – когда наступил тот день, то я получил последнее прикосновение ее руки.

Годы и десятилетия мчались мимо, и зрелище лучезарного полета чудной девы, осветившей, как метеор, боевой небосвод Франции и угасший в дыму костра, все глубже и глубже отступало в даль минувшего, становясь с каждым годом более загадочным, божественным и трогательным чудом; и мало-помалу я научился понимать и ценить ее по заслугам – как благороднейшую жизнь человеческую, подобную лишь Одной, посетившей наш мир.

Глава II

Я, Луи де Конт, родился в Нешато 6 января 1410 года, то есть как раз за два года до появления на свет Жанны д'Арк в Домреми. Мои родные, еще в первых годах столетия покинув окрестности Парижа, укрылись в этом захолустье. По политическим воззрениям они были арманьяки-патриоты; они стояли за то, чтобы у нас был свой, французский, король, невзирая на все его слабоумие и беспомощность. Бургундская партия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочиста. Все отняли у отца, кроме его захудалого дворянства, и в Нешато он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политическое настроение на новых местах пришлось ему по вкусу – хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия, а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами, демонами; там убийство было ежедневной забавой и жизнь человека ни на минуту не была вне опасности. В Париже чернь по ночам безумствовала на улицах, грабя, поджигая, убивая, и никто не вмешивался в это, не запрещал. Солнце всходило над разгромленными и дымящимися домами и над изуродованными трупами, которые лежали повсюду среди улиц – лежали там, где упали в минуту смерти, донага обобранные хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле; они продолжали лежать там, разлагаясь и распространяя заразу.

И явилась зараза. Словно мухи, погибали люди от морового поветрия; и погребали покойников под покровом ночи и тайны, потому что запрещено было хоронить при народе, дабы раскрытием размеров чумы не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершение всего наступила такая суровая зима, какой Париж не знал за последние пять веков. Голод, мор, убийства, лед, снег – все сразу низринулось на Париж. Мертвецы грудями лежали на улицах, а *волки средь бела дня рыскали по городу и пожирали трупы.*

Франция пала, – о, как низко она пала! Уж больше трех четвертей столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзились в ее тело, и войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь, что недалеко от правды было ходячее мнение, будто одно зрелище британской рати способно обратить в бегство рать французскую.

Пять лет было мне, когда на Францию обрушилось страшное бедствие при Азенкуре; английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена на разграбление хищным шайкам «вольных дружин», находившимся на службе бургундской партии, и однажды ночью такая шайка совершила набег и на наш Нешато. При свете огня, охватившего наши соломенные крыши, я видел, как всех, кто были мне дороги на этом свете, убивали, невзирая на их мольбы о пощаде. В живых остался только

мой старший брат, ваш предок: он находился тогда при дворе. Я слышал, как душегубы смеялись над их мольбами и передразнивали их просьбы о милосердии. Меня не заметили, и я остался невредим. Когда ушли кровожадные звери, я выполз из своего убежища и проплакал всю ночь, глядя на пылавшие дома; я был совершенно один, кругом меня находились лишь мертвые да раненные. Все разбежались, попрятались.

Меня отослали в Домреми, к священнику; его ключница заменила мне нежную мать. Священник мало-помалу научил меня грамоте и письму, и мы с ним были единственными обитателями деревни, знавшими грамоту.

К тому времени, как я нашел отчий приют в доме этого доброго патера, Гильома Фронта, мне было лет шесть. Мы жили как раз подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади церкви. Семейство их состояло из Жака д'Арка, отца; его жены Изабеллы Ромэ; трех сыновей, Жака, десяти лет, Пьера – восьми и Жана – семи; Жанне тогда было четыре года, а ее сестренке Катерине – около одного. У меня были и другие сверстники, в особенности четыре мальчика: Пьер Морель, Этьен Роз, Ноэль Рэнгесон и Эдмонд Обрэ, отец которого был тогда сельским мэром; были еще две девочки, почти однолетки с Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами: одну звали Ометтой, другую – маленькой Менжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским детям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых работников. Как видите, происхождения они были не бог весть какого; и, однако, много лет спустя, наступило время, когда каждый путешественник, как бы знатен он ни был, считал своим долгом зайти при проезде через наше село к двум смиренным старушкам, которым в юности выпала честь быть подругами Жанны, – и заплатить им дань уважения.

Все это были славные дети, обыкновенные дети крестьян. Конечно, ума не блестящего, – вы этого не стали бы от них и требовать, – но добродушные и хорошие товарищи, с послушанием относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались предрассудков, заимствованных через третьи руки от старших и воспринятых без колебаний и – без разбора, само собой разумеется. Религия передавалась им по наследству, как и политические воззрения. Пусть себе Ян Гус и его присные заявляют о своем недовольстве церковью, – Домреми, как прежде, будет верить по старине. Мне было четырнадцать лет, когда наступил раскол, и у нас оказалось сразу трое пап; но в Домреми никто не колебался, на ком из них остановить свой выбор; папа, находящийся в Риме, – настоящий, а папа вне Рима – вовсе не папа. Все обитатели деревни, до последнего человека, были арманьяки-патриоты; и если мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти, то уж бургундцев и англичан ненавидели горячо.

Глава III

Наша Домреми ничем не отличалась от любой серенькой деревушки той отдаленной поры и далекого захолустья. То была сеть кривых, узких проездов и проходов, где царилась тень от нависших соломенных крыш наших домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах, служившие вместо окон. Полы были земляные, обстановка жилищ отличалась крайней бедностью. Овцы да рогатый скот были главным промыслом; вся молодежь была в пастухах.

Местоположение было очаровательно. Сбоку деревни, от самой околицы, широким полукругом раскинулся цветущий луг, подходя к берегу реки Мезы, а позади села постепенно возвышался поросший травой скат, на вершине которого был большой дубовый лес – глубокий, сумрачный, дремучий и несказанно заманчивый для нас, детей, потому что в старину не один путник погиб там от руки разбойника, а еще раньше того были там логовища огромных драконов, которые извергали из ноздрей пламя и смертоносные пары. Правду ска-

зять, один из них еще ютился в лесу и в наши дни. Он был длиною с дерево, тело его в обхвате было словно бочка, чешуя – словно огромные черепицы, глубокие кровавые глаза – величиной со шляпу, а раздвоенный, с крючками, точно у якоря, хвост – так велик, как уж не знаю что, только величины необычайной даже для дракона, как говорили все знавшие в драконах толк. Предполагали, что дракон этот – ярко-синего цвета с золотыми крапинами, но никто его не видал, а потому нельзя было сказать этого с уверенностью; то было лишь частное мнение. Я мнения этого не разделял; по-моему, какой смысл создавать то или иное мнение, если не на чем его основать? Сделайте человека без костей; на вид-то он, пожалуй, будет хорош, однако он будет гнуться и не сможет устоять на ногах; и мне думается, что доказательство – это остов всякого мнения. Что касается дракона, то я всегда был уверен, что он был сплошь золотого цвета, без всякой синевы, ибо такова всегда была окраска драконов. Одно время дракон укрывался где-то совсем недалеко от опушки леса, подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пьер Морель однажды пошел туда и, услышав запах, узнал дракона по запаху. Жутко становится при мысли, что иной раз мы, сами того не зная, находимся в двух шагах от смертельной опасности.

Будь это в стародавние времена, человек сто рыцарей отправились бы туда из далеких стран земли, чтобы поочередно попытаться убить дракона и покрыть свое имя славой, но в наше время этот способ перестал применяться; теперь драконов истребляет священник. И отец Гильом взял на себя этот труд. Он устроил процессию со свечами, ладаном и хоругвями, и обошел опушку леса, и изгнал дракона, и после того никто о нем ничего не слышал, хотя, по мнению многих, запах так и не улетучился вполне. Не то, чтобы кто-либо замечал этот запах – вовсе нет; это опять-таки было лишь частное мнение, и тоже – мнение без костей, как видите. Я знаю, что чудовище было там до изгнания; а осталось ли оно и после – об этом я уж не могу говорить с уверенностью.

На возвышенности, ближе к Вокулеру, была красивая открытая равнина, устланная ковром зеленой травы; там стоял величавый бук, широко раскинув ветви и защищая своей могучей тенью прозрачную струю холодного родника; и летними днями дети отправлялись туда – каждый летний день на протяжении пяти столетий! И пели, и плясали вокруг дерева по несколько часов подряд, утоляя жажду ключевой водой. Как это было хорошо и весело! Они сплетали гирлянды цветов, вешая их на дерево и вокруг родника, чтобы порадовать живших там фей; а тем это нравилось, потому что все феи – невинные и праздные маленькие существа, любящие все нежное и красивое, вроде сплетенных в гирлянды диких цветов. И в благодарность за эти знаки внимания феи старались сделать для детей все, что было в их силах; они, например, заботились, чтобы источник всегда был чист, прохладен и обилен водой; они прогоняли змей и насекомых, которые жалят. И таким образом, на протяжении более пятисот лет (а по преданию – целое тысячелетие) между феями и детьми существовали самые дружественные, обоюдно доверчивые отношения, не омрачавшиеся никакими ссорами. Если кто-нибудь из детей умирал, то феи грустили о нем не меньше сверстников, и вот доказательство: перед рассветом, в день похорон, они вешали маленький венок из иммортелей над тем местом под деревом, где обыкновенно сидел умерший ребенок. Я убедился в этом воочию, не понаслышке. И вот почему все знали, что венок принесен феями: он весь состоял из черных цветов, каких нигде во Франции не встретишь.

И вот с незапамятных времен все дети, подраставшие в Домреми, назывались «детьми Древа»; и они любили это прозвище, потому что в нем заключалось какое-то таинственное преимущество, не дарованное остальным детям всего мира. А преимущество заключалось вот в чем: лишь только приближался для кого-нибудь из них час смерти, как среди смутных образов, теснившихся перед их угасающим взором, вставало прекрасным и нежным видением дерево во всей роскоши своего наряда, если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. Другие говорили, что явление бывает дважды: сначала как предостережение,

за год или за два до смерти, когда душа еще находится во власти греха; и при этом дерево будто бы предстает с оголенными ветвями, словно среди зимы, а душу охватывает непреодолимый страх. Если наступает раскаяние и человек переходит к непорочной жизни, то видение является вторично, и на этот раз – в красоте летнего убора. Но оно не повторяется для души нераскаявшейся, и она переселяется в иной мир, заранее зная свою участь. А третьи говорили, что видение бывает только один раз, являясь лишь безгрешным, которые умирают на далекой чужбине и тоскливо жаждут какого-нибудь последнего милого напоминания о своей отчизне. И какое напоминание может быть так же дорого их сердцу, как образ дерева, которое было баловнем их любви, товарищем их забав, утешителем их маленьких горестей во все божественные дни улетевшей юности?

Итак, на этот счет были разные предания, и одни верили тому, другие – другому. Одно из них, – а именно последнее, – я признаю истинным. Я ничего не имею против остальных; я думаю, что и они верны, но про истинность последнего *я знаю*; и я нахожу, что если всякий будет придерживаться лишь того, что ему известно, не затрагивая вопросов, недостаточно ему доступных, то он приобретет большую устойчивость понятий, – а в этом польза. Я знаю, что если «дети Древа» умирают в дальних странах и если они вели праведную жизнь, то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят, как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую небеса, сияющий вдалеке ласковый образ «Древа фей», дремлющий в ореоле золотого света; и они видят цветущий луг, скатом идущий к реке, и до их угасающего обоняния доносится слабый и отрадный аромат цветов отчизны. И затем видение бледнеет, исчезает... но они знают, они знают! А по их преображенному лику и вы, стоя у смертного ложа, знаете; да, вы знаете, какая весть пришла сейчас, вы знаете, что весть эта ниспослана небом.

Жанна и я – оба мы верили в это. Но Пьер Морель и Жак д'Арк и многие другие были уверены, что видение является дважды – грешникам. В самом деле, они и многие другие говорили, что они знают это. Вероятно, их родители знали это и сообщили им: ведь в нашем мире познания приобретаются по большей части не из первых рук.

Вот одно обстоятельство, благодаря которому можно поверить, что действительно «Древо» являлось и дважды: с самых незапамятных времен, если замечали кого-нибудь из наших односельчан с побледневшим и помертвевшим от страха лицом, то соседи начинали перешептываться: «А, он осознал свои грехи, он получил предостережение!» И сосед содрогаясь от ужаса и отвечал шепотом: «Да, бедняга, он увидел Древо».

Подобные доказательства имеют вес: их нельзя устранить мановением руки. То, что находит подтверждение в неизменности опыта на протяжении веков, естественным образом приобретает все большую и большую устойчивость; и если так будет продолжаться да продолжаться, то в конце концов подобное мнение сделается неоспоримым – и это уж будет крепкая скала, которую не сдвинешь.

За свою долгую жизнь я наблюдал несколько случаев, когда «Древо» являлось вестником смерти, которая была еще далеко; но ни один из умиравших не был во власти греха. Нет, видение в этих случаях было лишь знамением особой милости: вместо того, чтобы прибегать к весть о спасении души до часа смерти, оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с нею дарило спокойствие, которое уже не могло быть нарушено, – спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Я сам, хилый старик, жду с просветленной душой; ибо мне послано было видение Древа. Я видел его; я доволен.

С незапамятной старины дети, кружась хороводом вокруг «Древа фей», пели всегда одну и ту же песню Древа, песню о l'Arbre Fée de Bourlemont. В этой песне звучала тихая грациозная мелодия, та отрадная и нежная мелодия, которая всю жизнь слышалась мне в часы душевного раздумья, когда мне было тяжело и тоскливо; она убаюкивала меня среди ночи и из дальних стран уносила на родину. Чужеземцу не понять, не почувствовать, чем была, при пролете столетий, эта песня для заброшенных на чужбину «питомцев Древа», для

бездомных скитальцев, тоскующих в стране, где не услышишь родного слова, не встретишь родных обычаев. Песня эта не хитра; вы, быть может, найдете ее жалкой, но не забывайте, чем была она для нас и какие образы прошлого она воскрешала перед нами, – тогда и вы ее оцените. И вы тогда поймете, почему слезы навертывались у нас на глазах, затуманивая взор, и почему у нас голос прерывался, когда мы доходили до последних строк:

И если мы в чужих краях
Будем звать тебя с мольбой,
С словами скорби на устах, —
То осени ты нас собой!

Не забудьте, что Жанна д'Арк, когда была ребенком, пела вместе с нами эту песню вокруг Древа и всегда любила ее. А это освящает песню; да, вы с этим согласитесь.

L'ARBRE FÉE DE BOURLEMONT
(Бурлемонское Древо фей)
Детская песня

Чем живет твоя листва,
Arbre Fée de Bourlemont?
Росою детских слез! Без слов
Ласкаешь плачущих юнцов,
К тебе спешащих, чтоб излить
Перед тобою скорбь свою,
Тебя ж – слезами напоить.

И отчего твой ствол могуч,
Arbre Fée de Bourlemont?
Оттого, что много лет
Любовь жила в сердцах детей
И берегла тебя любовь.
И лаской маленьких людей
Ты возрождалось к жизни вновь.

Не увядай у нас в сердцах,
Arbre Fée de Bourlemont?
И мы до склона наших дней
Пребудем в юности своей.
И если мы в чужих краях
Будем звать тебя с мольбой,
Со словами скорби на устах, —
То осени ты нас собой!

Когда мы были детьми, феи все еще находились там, хотя мы их никогда не видали, – потому что за сто лет до того священник из Домреми совершил под Древом церковный обряд и проклял фей, как исчадие дьявола, как тварей, которым закрыт доступ к спасению; а затем он запретил им показываться на глаза людям и вешать на Древо венки, под угрозой вечного изгнания из нашего прихода.

Все дети заступились за фей, говоря, что те всегда были их добрыми друзьями, были им дороги и не сделали им ничего дурного; однако патер ничего не хотел и слушать и заявил, что стыдно и грешно водиться с такими друзьями. Дети плакали и были безутешны; и они уговорились, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на Древо гирлянды цветов как вечное знамение феям, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они перестали быть видимы.

Но как-то поздно вечером нагрянула беда. Мать Эдмонда Обрэ проходила мимо Древа, а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить; и они так разрезвились, так увлеклись диким весельем пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не заметили; и кумушка Обрэ остановилась, охваченная изумлением, очарованная, и смотрела, как сказочные крошки, числом до трехсот, взявшись за руки, несутся вокруг дерева хороводом шириной в половину обыкновенной спальни и откидываются назад, и разевают ротки, заливаясь смехом и песней (это она расслышала вполне явственно), и в веселом самозабвении вскидывают ножонками на целых три дюйма от земли, – о, ни одной женщине не пришлось видеть такую безумную и волшебную пляску!

Но через минуту-другую маленькие бедняжки увидели ее. В один голос они разразились надрывающим сердце писком скорби и ужаса и пустились бежать врассыпную, зажав крошечными, как орешки, кулачками глаза и проливая горячие слезы. И скрылись из вида.

Бессердечная женщина – нет, неразумная женщина, она не была бессердечна, но лишь безрассудна, – тотчас пошла домой и разболтала обо всем соседям, куда мы, юные друзья фей, спали крепким сном, не подозревая, какая нам грозит беда, и не помышляя, что нам следовало бы всем вскочить с постели и попытаться остановить эту роковую болтовню. Наутро уже все об этом знали, и таким образом несчастье было неминуемо, ибо о чем все знают, о том знает, конечно, и священник. Мы пошли к отцу Фронту с плачем и мольбами; и он, видя нашу печаль, тоже не мог удержаться от слез, потому что у него было очень нежное и доброе сердце; он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что ведь решено было, что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны. Случилось все это в самую злосчастную пору, так как Жанна д'Арк лежала больная, в горячке, без сознания, а что могли поделать мы, не умевшие рассуждать и убеждать, как она? Мы гурьбой побежали к Жанне и звали ее: «Жанна, проснись! Проснись, нельзя терять ни мгновенья! Поди и заступись за фей – поди и спаси их! На тебя вся надежда».

Но она была в бреду и не понимала, что мы ей говорили, чего добивались; и мы пошли обратно, чувствуя, что все потеряно. Да, все было потеряно, потеряно навеки. Преданные друзья детей, не разлучавшиеся с ними пять столетий, должны были покинуть наши места и никогда не возвращаться.

Горьким днем был для нас тот день, когда отец Фронт совершил у подножия Древа церковный обряд и изгнал фей. Мы не смели открыто носить траур – этого нам не позволили бы; пришлось довольствоваться кое-какими лоскутками черной материи, приколотыми к платью так, чтобы не бросалось в глаза; но сердца наши облеклись в полный, благородный, всеобъемлющий траур, ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них и наложить запрет.

Великое Древо – l'Arbre Fée de Bourlemont было его звучное прозвание – с тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше; но по-прежнему оно было нам дорого; оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год, чтобы присесть под ним и воскресить перед собой умерших товарищей детства, и собрать их вокруг себя, и сквозь слезы смотреть на их лица... и чувствовать, как сердце надывается! О Боже!.. Нет, место с тех пор перестало быть тем, чем было прежде. Кое-что оно должно было утратить; ведь с прекра-

щением покровительства фей родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады, и воды в нем убыло на две трети, и изгнанные змеи и докучные насекомые вернулись и начали размножаться, сделавшись местным бичом, и так продолжается поныне.

Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела, и только тогда мы поняли, во что обошлась нам ее болезнь; ибо мы увидели, что не напрасно верили, что она могла бы спасти фей. Она пришла в такой сильный гнев, какого никто не ожидал бы от столь малого ребенка, и, тотчас отправившись к отцу Фронту, стала перед ним, почтительно присела и сказала:

– Феи должны были удалиться навсегда, если бы вздумали еще хоть раз показаться на глаза людям, не так ли?

– Именно так, дитя мое.

– Если человек в полночь ворвется в спальню другого, когда тот полураздет, то можно ли сказать, что тот показался на глаза первому?

– Ну... нет, – ответил добрый патер, уже несколько встревоженный и растерянный.

– Неужели грех всегда остается грехом, – даже в том случае, когда ты не имел намерения совершить его?

Отец Фронт воскликнул, воздев руки к небу:

– О бедное дитя мое, я уразумел всю великость ошибки своей, – и он привлек ее к себе и обнял ее рукой, пытаясь лаской примирить ее, но она была так рассержена, что не могла сразу же перейти на мирный тон и, припав лицом к его груди, разразилась рыданиями.

– Значит, феи не совершили никакого греха, – сказала она, – у них не было намерения совершить его, они ведь не знали, что поблизости находится человек. И только потому, что они – маленькие бессловесные создания, которые не могли замолвить за себя словечко и сказать, что закон направлен лишь против умысла, а не против их невинного поступка; только потому, что у них не оказалась друга, который продумал бы эту простую мысль до конца и заявил бы о том в их защиту, – только потому, что они навеки стали изгнанниками родины! И несправедливо было такое решение, *несправедливо!*

Добрый патер еще ближе привлек ее к себе и сказал:

– Устами детей и младенцев грудных произносится суд над нерадивыми и безрассудными! Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий. И ради себя самого! Ради себя самого! Ибо неправосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать, – если бы ты знала, как огорчен я сам, твой бедный старый друг, – перестань же плакать, голубушка.

– Но не могу же я сразу так перестать, дайте выплакаться. А это вовсе не пустяки – то, что вы наделали. Если вы немного огорчены – так разве этого довольно, чтобы искупить такую вину?

Отец Фронт отвернулся, чтобы скрыть от нее улыбку, которая могла бы ее обидеть.

– О жестокая, но справедливая обвинительница, конечно, этого не довольно. Погоди, я надену вретисце и посыплю себе пеплом главу. Довольно с тебя?

Рыдания Жанны начали затихать, и вот она взглянула на старика сквозь слезы и простодушно сказала:

– Хорошо, это годится, если только этим искупится ваша вина.

Отец Фронт, быть может, опять засмеялся бы, но вовремя вспомнил, что таким образом он принял на себя обязательство, и притом – не из самых приятных. А обязательства надо выполнять. И вот он поднялся с кресла и подошел к очагу; Жанна между тем следила за ним с большим любопытством; он взял на лопатку пригоршню холодной золы и уже готовился посыпать ее себе на седины, но тут в его уме промелькнула счастливая мысль.

– Не хочешь ли помочь мне, голубушка? – сказал он.

– Как это, отец мой?

Он опустил на колени и, поникнув головою, ответил:

– Возьми пепел и посыпь его мне на голову.

Само собой, тем дело и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко представить себе, что Жанне и любому из деревенских ребят показалась бы ужасной одна мысль о подобном кощунстве. Она подбежала и бросилась рядом с ним на колени.

– Ах, как страшно! – произнесла она. – Я до сих пор не знала, что значит власяница и пепел... Пожалуйста, встаньте, отец мой.

– Нет, не могу, пока не получу прощения. Прощаешь ли ты мне?

– Я! Да ведь вы, отче, не причинили мне никакого зла. Это вы сами должны простить себе за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте!

– Но в таком случае мое положение еще затруднительнее. Я-то думал, что должен снискать *твое* прощение, а раз я сам должен себе простить, то я не могу быть снисходительным; не подобало бы это мне. Что же мне делать? Придумай мне какой-нибудь исход, в твоей маленькой головке ведь ума палата.

Патер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уже готова была снова расплакаться, но тут ее надоумило, и, схватив лопатку, она высыпала себе на голову поток золы и пробормотала, задыхаясь и чихая:

– Ну, вот... кончено. Встаньте же, пожалуйста, отец мой!

Старик, которого это и растрогало, и забавляло, прижал ее к сердцу и сказал:

– Несравненное ты дитя! Такое мученичество смиренно; такого мученичества не стали бы изображать на картинах; но оно проникнуто духом истины и справедливости. Свидетельствую об этом!

Затем он смахнул пепел с ее волос и помог ей умыться и вообще оправиться. Теперь он совсем развеселился и почувствовал расположение к дальнейшим рассуждениям, а потому он снова занял свое место и привлек к себе Жанну.

– Жанна, – начал он, – ты ведь нередко сплетала там, у «Древа фей», гирлянды цветов вместе с другими детьми, не так ли?

Он всегда подступал с этой стороны, когда хотел завлечь меня приманкой и поймать на слове – всегда вот такой спокойный, равнодушный тон, которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, а ты и не замечаешь, куда идешь, – опомнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он-таки любил эти штуки. Я уж видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила:

– Да, отец мой.

– А вешала гирлянды на Древо?

– Нет, отец мой.

– Не вешала?

– Нет.

– Почему же?

– Я... ну, да, я не хотела этого.

– Не хотела?

– Нет, отец мой.

– А что же ты делала с цветами?

– Я вешала их внутри церкви.

– Почему же тебе не хотелось вешать их на Древо?

– Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу, и мне говорили, что оказывать им почести грешно.

– И ты верила, что нехорошо оказывать им такую почесть?

– Да. Я думала, что это должно быть нехорошо.

– Но если нехорошо было так почитать их и если они сродни дьяволу, то ведь они могли бы оказаться опасными товарищами для тебя и для других детей, не правда ли?

– Я думаю так... Да, я согласна с этим.

Он задумался на минуту, и я был уверен, что он собирается прихлопнуть капкан. Так оно и было. Он сказал:

– Дело обстоит ведь так. Феи – это гонимые твари; они бесовского происхождения; их общество могло бы оказаться опасным для детей. Так приведи же мне разумную причину, голубушка, если только ты будешь в силах придумать ее: почему ты считаешь несправедливым, если их обрекли на изгнание, и почему ты хотела бы их спасти от этого? Короче говоря, ты-то что потеряла?

Как глупо было с его стороны повести так дело! Будь он мальчишкой, я непременно намылил бы ему голову с досады. Он все время был на верном пути и вдруг все испортил своим нелепым и роковым заключением. *Она-то* что потеряла! Да неужели он никогда не поймет, что за дитя эта Жанна д'Арк? Неужели он никогда не догадается, что ей никакого дела нет до того, что связано с ее личной выгодой или утратой? Неужели он никогда не постигнет той простой мысли, что есть одно, только одно верное средство задеть ее за живое и пробудить в ней огонь – это показать ей, что кому-то *другому* грозит несправедливость, или обида, или утрата? Право, он взял да и расставил самому себе западню – вот все, чего он достиг.

В ту же минуту, как эти слова сорвались у него с языка, Жанна вскипела, слезы негодования показались на ее глазах, и она обрушилась на него с таким воодушевлением и гневом, что он был поражен; но меня это не удивило, так как я знал, что он поджег мину, когда добрался до своей злополучной тирады.

– Ах, отец мой, как вы можете говорить подобные вещи? Кто владеет Францией?

– Бог и король.

– Не Сатана?

– Сатана? Что ты, дитя мое: ведь эта страна – подножие Вседержителя, и Сатана не владеет здесь ни единой пядью земли.

– Ну, а кто же указал тем бедным созданиям их жилище? Бог. Кто охранял их на протяжении всех этих столетий? Бог. Кто позволил им резвиться и плясать под деревом, кто не видел в том ничего дурного? – Бог. Кто восстал против Божьего соизволения и пригрозил им? Человек. Кто захватил их врасплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми, кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагий и Всемиловитый – Господь, пять веков посылавший им знамение Своего благоволения: и дождь, и росу, и солнечный свет? Ведь то была их обитель – их, волею и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них. А они ведь были самыми милыми и верными друзьями детей, они оказывали им нежные и любвеобильные услуги все эти долгие пять веков, они никого не обидели, не причинили никому зла; и дети любили их, а теперь грустят по ним, и нет исцеления их скорби. И чем провинились дети, что им пришлось понести эту жестокую утрату? Вы говорите, бедные феи *могли бы* оказаться опасными товарищами для детей? Да – но не были; а «могли бы» – разве это довод? Сродни дьяволу? Так что же? Сородичи дьявола имеют *права*, и они их имели; дети имеют права, и здешние дети их имели; и будь я здесь тогда, я не промолчала бы, я стала бы просить за детей и за сородичей дьявола, я остановила бы вашу руку и спасла бы их всех. Но теперь... ах, теперь все потеряно! Все потеряно, и неоткуда ждать помощи!

Закончила она свои слова горячим осуждением той мысли, что феям, как сородичам дьявола, надо отказывать в людском сочувствии и дружбе, что надо их сторониться, потому что им закрыт доступ к спасению. Она говорила, что именно по *этой причине* люди должны их жалеть и окружать их всяческой любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой

доле, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине. «Бедные созданыица! – сказала она. – Какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не может чувствовать жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее!»

Она вырвалась из рук отца Фронта и залилась слезами, утирая кулачками глаза и гневно топая ножкой. Вот она кинулась к дверям и ушла, прежде чем мы успели прийти в себя после этой бури упреков, после этого урагана страсти.

Патер наконец поднялся на ноги и постоял некоторое время, проводя рукой по лбу, как человек озадаченный и встревоженный; затем он повернулся и побрел к двери своей рабочей каморки. Он переступил через порог, и я слышал, как он пробормотал сокрушенно:

«Горе мне! Бедные дети, бедные сородичи сатаны – у них действительно *есть* права, и она сказала истину... Я и не подумал об этом. Да простит мне Господь – я заслужил хулу».

Слыша эти слова я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Так оно и вышло, он сам попался туда, как видите. В первую минуту это придало мне бодрости, и я подумал, не удастся ли и мне когда-нибудь поймать его в капкан; но, поразмыслив, снова пал духом: куда мне!

Глава IV

По поводу этого рассказа я вспоминаю о множестве других событий, о которых я мог бы поговорить, но пока считаю за лучшее не касаться их. Сейчас я в таком настроении, что мне будет приятнее воскресить скромную картину простого и непритязательного уюта, царившего у наших домашних очагов в те мирные дни, особенно в зимнее время. Летом мы, малыши, с утра и до вечера пасли стада на просторе нагорных пастбищ, где вволю можно было порезвиться и пошуметь; но зимой была покойная пора, зимой была пора уюта. Частенько собирались мы у старого Жака д'Арка, в его просторной горнице с земляным полом. Ярко топилась печка, а мы выдумывали разные игры, пели песни, гадали, слушали, как старики рассказывают длинные были и небылицы. То да другое – смотришь, уж полночь.

Как-то зимним вечером собралась там вся наша компания – это было как раз в ту зиму, которую много лет потом вспоминали как «лютую зиму», – а в ту ночь погода особенно бушевала. На дворе дул сильный ветер, и его завывание действовало на нас возбуждающе; по-моему, это звучало даже красиво, потому что, думается мне, величественным, благородным и прекрасным кажется ветер, который ярится, бушует и поет свою стихийную мелодию, в то время как ты сидишь дома, среди уюта. А мы были именно в такой обстановке. Огонь гудел, дождь со снегом монотонно и ласково капал вниз по трубе; жужжанье веретена, смех и песни продолжались вовсю до десяти часов, а там подавался ужин из горячей похлебки, бобов, пирожков.

Жанночка сидела в сторонке, на одном ларе, а на другом стояла ее миска и лежала краюха хлеба; она была окружена своими любимцами, которые «помогали» ей. Любимцев у нее было больше, чем обыкновенно и чем допускала бережливость, потому что все бездомные кошки пристраивались к ней, а другие, бесприютные и невзрачные животные, прослышав об этом, тоже являлись и разносили молву дальше, другим тварям, и те тоже приходили. Птицы и прочие робкие и дикие обитатели лесов не боялись ее, но всегда при встрече признавали в ней своего друга и, обыкновенно, завязывали с ней знакомство, чтобы получить приглашение в дом. Таким образом, у нее всегда было вдоволь представителей всех этих пород. Ко всем она относилась одинаково гостеприимно, так как вся живая тварь была ей мила и дорога, просто потому, что это – живая тварь, независимо от того, какого она роду-племени. И она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни цепей, но предоставляла животным свободно приходить и уходить, когда им вздумается, – это им нравилось, и они приходили; но нельзя сказать, что они всякий раз уходили, и поэтому они были страшной помехой

в доме, так что Жак д'Арк из-за них изрядно бранился; однако жена возражала ему на это, что ребенку этот врожденный дар ниспослан Богом, а Бог знал, зачем он так ее одарил, – значит, так оно и нужно: неразумно было бы вмешиваться в Его дела, коли на то не было предуказаний. Итак, любимцев оставили в покое, и они, как я сказал, находились все тут же: кролики, птицы, белки, кошки и иные «рептилии» – все они окружили девочку и, проявляя немалую любознательность к ее ужину, помогали по мере своих сил. На ее плече сидела крошечная белка и, встав на задние лапки, вертела коготками черствый кусок доисторического каштанового пирога, выискивая наименее затвердевшие места; всякий раз, как ее поиски увенчивались успехом, она поматывала поднятым трубой пушистым хвостом и поводила заостренными ушами в знак благодарности и удивления, а затем отпиливала это местечко теми двумя тонкими резцами, которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красоты. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя – с этим согласится всякий, кто присмотрится к белке.

Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот веселье было прервано: кто-то постучал в дверь. Оказалось, один из тех оборванных бродяг, которыми вечные войны наводнили страну. Он вошел, весь в снегу, вытер ноги, отряхнулся, обчистился, закрыл дверь, снял свою затасканную изорванную шапку и раза два шлепнул ею себя по бедру, чтобы стряхнуть снег, а затем обвел взором наше сборище; на его худощавом лице появилось выражение удовольствия, а в глазах, при виде яств, отразились голод и вожделение; произнеся учтивое и заискивающее приветствие, он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у такого огня, под защитой такого крова, и вкушать такую богатую трапезу, и болтать с дорогими друзьями – о да, вот уж по правде можно сказать, милостив будь, Господи, ко всем бездомным и к тем, что должны в такую погоду тащиться по дороге.

Никто ничего не ответил. Бедняга, смутившись, стоял на том же месте и умоляюще смотрел то на того, то на другого, но не встретил приветливого взора; и его улыбка малопомалу начала меркнуть, сглаживаться и – исчезла. И он потупил глаза, мускулы его лица дрогнули; он поднял руку, чтобы скрыть это проявление слабости, которое не подобает мужчине.

– Садись на место!

Грозный оклик этот исходил от старого Жака д'Арка и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица: перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой.

Он произнес:

– Господь Всемогущий да благословит тебя, дитя мое! – и слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску.

– Слышишь? Садись на место, говорю тебе!

Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал – да и не мог бы ему научиться. Жанна ответила:

– Батюшка, ведь он голоден – я же вижу.

– Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики объедают нас, выживают из дому, и я сказал, что больше этого не потерплю, и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, говорят тебе!

– Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку – мне не хочется есть.

– Есть ты не слушаешь меня, я... Негодяям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получают в этом доме ни куска, ни глотка! Жанна!!

Она поставила миску на крышку ларя, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала:

– Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему. Но мне хотелось бы, чтобы ты вдумался – тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая; ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника, но не голова его голодна – голодает желудок, который никому не причинил вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь...

– Что ты мелешь? Да я такой чепухи от рода не слыхивал!

Но тут вмешался Обрэ, сельский мэр, любитель словопрений и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно:

– Я не примыкаю к вашему мнению, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим, – тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой, – доказать, что в словах ребенка есть крупица смысла. Видите ли в чем дело: не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить? – он опять глянул кругом: все выразили согласие. – Ну и отлично. А раз это так, то ни единая часть тела не ответственна, если она исполняет приказание, отданное головой; ergo, только голова ответственна за преступления, совершенные руками человека, или его ногами, или желудком, – понимаете вы мою мысль? Прав ли я пока?

Все ответили «да!» – и ответили с восторгом, а иные говорили друг другу, что мэр сегодня в ударе, как никогда. Это очень понравилось мэру, так что его глаза засверкали от удовольствия: похвалы не прошли мимо его ушей. И он продолжал тем же богатым и блестящим слогом:

– Ну, рассмотрим же теперь, что такое – понятие об ответственности и какую роль оно занимает в разбираемом вопросе. Ответственность делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответственен в собственном смысле слова, – и он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагают на людей ответственность.

Некоторые из слушателей благоговейно воскликнули: «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу, как на ладони! Просто диво!»

Он на минуту остановился, для вящего поощрения и усиления любопытства, и заговорил снова:

– Прекрасно. Предположим такой случай: щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже ответили на вопрос: по вашим лицам вижу, что вы сочли бы подобное утверждение нелепым. Ну, а почему же оно нелепо? Оно нелепо потому, что, поелику щипцы не обладают способностью мышления, – иными словами, способностью лично распоряжаться своими действиями, – то личная ответственность за поступки щипцов, безусловно, лежит вне пределов щипцов; а следовательно, раз нет ответственности, не может возникнуть и наказание. Не правда ли? (Гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом.) Ну вот, мы теперь подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находятся роль щипцов в разобранным случае и роль желудка. Слушайте – и, прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? Нет. А теперь ответьте – *могут ли затеять все-это щипцы!* (Возгласы восторга: «Нет!» – «Оба случая точь-в-точь одинаковы!» – «Как великолепно он все разобрал!») Итак, друзья мои и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его совершителем, – видите, это ясно, как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки; мы сузим его еще более! Может ли желудок,

по собственному побуждению, быть пособником преступления? Конечно, нет, ибо отсутствует повеление, отсутствует мыслительная способность, отсутствует сила воли, – как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем – не так ли? – что желудок совершенно безответствен за преступления, совершенные им полностью или отчасти? (Единодушный ропот одобрения.) Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире не существует виновных желудков; что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок; что, каковы бы ни были поступки его собственника, *он-то*, желудок, в наших глазах должен быть свят; и что, раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почтить не только своим долгом, но и своим *преимуществом* – накормить голодный желудок, который пребывает в негодяе; мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности, в воздание заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам! Я кончил.

Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину! Они встали – все собрание встало – и начали хлопать в ладоши, кричать ура, превозносить оратора до небес; и один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему – иные со слезами на глазах – и пожимали ему руки и говорили ему столько хорошего, что он был прямо-таки вне себя от гордости и счастья и не мог сказать ни слова – да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище. И каждый говорил, что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не приведется. Красноречие – сила, в этом не может быть сомнения. Старый Жак д'Арк – и тот увлекся, хоть один раз в жизни, и крикнул:

– Ладно, Жанна, дай ему похлебки!

Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он успел ее прикончить всю. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решения. Желудок человека, отвечала она, чувствовал голод, и неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок – а какую она высказала добрую и дальновидную мысль.

Человек вовсе не оказался негодяем. Он был очень славный парень, только ему не повезло – а это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь была уже доказана невиновность его желудка, то сей последний получил разрешение чувствовать себя как дома; и лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык, который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет служил на войне, а его рассказы и его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде чем кто-либо понял хорошенько, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы; и грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы двенадцати паладинов¹ и становятся лицом к лицу со своей судьбой; нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению; мы видели, как этот живой поток набегал и стремился назад откатной волной, видели, как он таял перед горстью героев; мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего и в то же время – наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции; среди необъятного поля, где лежали убитые и умиравшие, то здесь, то там виден был один из паладинов; слабеющей рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу, и все они, друг за другом, пали на наших глазах, пока не остался только один – тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием

¹ Легендарные витязи, сподвижники Карла Великого, погибшие с Роландом в Ронсельвальской долине.

Песни Песней, а эту песнь ни единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем – зрелище наибольшего величия и скорби! – мы увидели и его горестную кончину; мы, затаив дыхание, с пересохшими губами ловили каждое слово рассказа, и в нашем безмолвии был отзвук того грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя.

И вот незнакомец, среди этого торжественного молчания, погладил Жанну по головке и молвил:

– Маленькая дева, да сохрани тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай: вот тебе награда!

То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекающей неожиданности: не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая «Песнь о Роланде»!

Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции! О, куда девалось ваше деланное красноречие? Чем оно показалось бы теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами, с этой песнью на устах и в сердце! Как он весь преобразился, и куда девались его лохмотья!

Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лица у всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы. Невольно все начали раскачиваться в такт песни; слышались вздохи, стоны, возгласы горя; вот раздались последние слова: Роланд лежал умирающий, один-одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудями лежали погибшие, и ослабшей рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу, и с его бледнеющих уст слетела дивная молитва; тут все разразились рыданиями и стенаниями. Но когда замерла последняя, величественная нота и кончилась песня, то все, как один человек, бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, – и начали душить его в объятиях; но впереди всех была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения.

На дворе бушевала метель, но это уже было безразлично: приют незнакомца был теперь здесь и он мог оставаться сколько ему угодно.

Глава V

У всех детей есть прозвища; так было и у нас. С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче: с течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее; наконец у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда. Крестьянские девушки, вообще, застенчивы; но она этим свойством так выделялась, так быстро краснела от малейшей причины, так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей, что мы прозвали ее Стыдливой. Мы все были патриоты, но настоящей патриоткой называлась она, потому что самые горячие наши чувства к родине показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также Красавицей – не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище – Храброй.

Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Поистине, мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе; и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг, «Древа фей» и вешали на него гирлянды

в память наших утраченных маленьких приятельниц. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула:

– Гляньте-ка! Что это такое?

Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Все мы столпились в кучку; сердца трепетали, лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону – вниз по откосу, туда, где находилась деревня.

– Да ведь это черный флаг.

– Черный флаг? Нет... будто бы?

– У самого глаза есть, не видишь, что ли?

– А ведь взаправду – черный флаг! Случалось ли кому видеть такую штуку раньше?

– Что бы это значило?

– Что? Это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того!

– Не про то говорю, это и так понятно. Но *что* именно – вот вопрос.

– Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас, – только имейте терпение, пока он подойдет.

– Бежит-то он шибко. Кто это такой?

Одни называли одного, другие – другого; но вот все уже могли разглядеть, что это – Этьен Роз, по прозванию Подсолнечник, потому что у него были желтые волосы и круглое, покрытое оспенными рябинами лицо. Его предки несколько сотен лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мочь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой флагшток, разворачивая в воздухе черное знамение скорби, между тем как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал:

– Вот! Стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени.

Замолкла беспорядочная болтовня. словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись с силами, мальчик заговорил:

– Пришли черные вести. В Труа заключен договор между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанная по рукам и ногам. Все это придумано герцогом бургундским и этой ведьмой – королевой Франции. Решено, что Генрих Английский женится на Екатерине Французской...

– Неужели это не ложь? Дочь Франции выйдет за азенкурского мясника? Возможно ли поверить этому! Ты слышал, да перепутал.

– Коли ты этому не можешь поверить, Жак д'Арк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, – будь то даже девочка, – унаследует себе обе короны, английскую и французскую; и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству вовеки.

– Ну, это уж, наверно, ложь, потому что это было бы противно нашему салическому закону², а, значит, это – беззаконие, этому не бывать! – сказал Эдмонд Обрэ, прозванный Паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать. Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных: все возмущались этой статьей договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Ометта уговорила их попритихнуть, сказав:

² В силу салического закона женская линия устранялась во французской монархии от престолонаследия.

– Зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, кончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью. Будь это ложь – нам пришлось бы ликовать, а не гневаться. Досказывай, Этьен.

– Сказ не велик: наш король, Карл VI, останется на престоле до своей смерти, затем вступает во временное управление Францией Генрих V Английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы...

– *Этот* человек будет править нами – мясник? Это ложь! Сплошная ложь! – вскричал Паладин. – Подумай к тому же: а дофин куда денется? Что сказано о нем в договоре?

– Ничего. У него отберут престол, а сам пусть идет, куда хочет.

Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды. И все даже развеселились: «Ведь король наш, – успокаивали мы себя, – должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу; а как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына?»

Но Подсолнечник возразил:

– А я тоже задам вам вопрос: подписала ль бы *королева* договор, лишаящий ее сына наследства?

– Эта змея? Конечно. О ней и речи нет. От нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, – лишь бы насытить свою злобу; она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения. Подписать должен король.

– Спрошу у вас еще одну вещь. В каком состоянии король? Безумный он или нет?

– Да, он безумен, и народ любит его за то еще больше. Он ближе к народу благодаря своим страданиям, а жалость к нему переходит в любовь.

– Правильно сказано, Жак д'Арк! Ну, так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор.

– Кто заставил его сделать это?

– Вы знаете и так, мне незачем было бы называть: королева.

Снова раздался единодушный крик негодования; все заговорили в одно время, и каждый призывал проклятья на голову королевы. Наконец Жак д'Арк сказал:

– Но ведь сплошь и рядом приходят вести неверные. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем столь мучительном, столь унижительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ – тоже лишь злая молва. Где ты об этом услышал?

На его сестре Жанне лица не было. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее.

– Мы узнали от священника из Максэ.

Все замерли. Мы, видите ли, знали этого кюре как человека правдивого.

– А он сам считает ли это правдой?

У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил:

– Да. Мало того: не только считает, но, по его словам, *знает*, что это правда.

Некоторые девочки заплакали; у мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы, так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат Жак гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие, и она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова. Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить. Ноэль Ренгесон воскликнул:

– Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами! Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора.

– Я ненавижу эту пору юности! – сказал Пьер Морель, прозванный Стрекозой за свои выпученные глаза. – Все жди, жди, жди, – а тем временем уж сто лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастья.

– Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать, – заметил Паладин, – и уж когда я вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах; а на мой вкус – дайте мне место впереди всех, или же вовсе не надо. Я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров.

Даже девочкам переданся воинственный пыл, и Мари Дюпон сказала:

– Я бы хотела быть мужчиной. Я бы отправилась сию же минуту! – И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал.

– Я тоже! – заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. – Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией.

– Хо-хо! – произнес Паладин. – Девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысяча их выступит против горсти солдат – вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вон наша Жанночка – недостает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты!

Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что Паладин попытался продолжить шутку:

– Вы можете, как воочию, представить ее себе: вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так; и не какой-нибудь жалкий, простой солдат вроде нас, – нет, она будет офицером, заметьте, и у нее будет шлем с забралом, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером? Непременно так – ей дадут чин капитана! Она будет капитаном, и ей дадут команду в сто человек – или, быть может, девушек. О, не таковская она, чтобы остаться простым солдатом! Боже ты мой, каким ураганом она налетит на вражескую рать и сомнет ее!

И он продолжал все в том же роде, так что все захохотали до слез, – да оно и не удивительно: что могло быть (в то время) забавнее предположения, что вот это кроткое маленькое создание, которое мухи не обидит, которое не выносит вида крови и вообще так девственно и пугливо, – что оно ринется в битву, ведя за собой толпу солдат? Бедняжка, она сидела смущенная, не зная куда деться от сыпавшихся со всех сторон насмешек. А между тем как раз в ту минуту подготовлялось событие, которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что наибольшую выгоду имеет тот, кто смеется последний. Как раз тогда из-за «Древа фей» показалось хорошо нам знакомое и внушавшее нам страх лицо: и нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу и что мы на волосок от смерти! Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда, девочки завизжали, заплакали. Нет, не все; все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы достигли леса, опушка которого примыкала к луговой поляне, и спрятались под его защиту; кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа, и вот что мы увидели: Жанна стоит, и безумец, высоко подняв топор, подкрадывается к ней. Зрелище полное ужаса. Мы остановились, как скованные; мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, – и не верю глазам. Вижу – он остановился. Погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше, но она, не обращая внимания, идет – подошла к нему лицом к лицу – как раз под топор. Остановилась и, по-видимому, заговорила с ним. Я чувствовал себя больным, голова закружилась, все вокруг меня пошло ходуном, и не знаю, долго ли, коротко ли, но некоторое время я не мог ничего видеть. Когда

это прошло, и я глянул снова, Жанна шла рядом с человеком, держа его за руку; в другой руке ее был топор. Они направлялись к деревне.

Мальчики и девочки, друг за дружкой, начали выползать из зарослей, и мы стояли разинув рты и во все глаза смотрели на тех двух, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и назвали ее Храброй.

Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг; а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала: сумасшедшего заперли. Все население спешило на маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поахать и подивиться; часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре.

Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей бы следовало родиться мужчиной – тогда ее послали бы на войну, и уж наверно она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться: такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности.

Само собой, начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя и потихоньку убежал назад, к «Древу фей», где я был бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну, но она искала спасения от тягости славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно.

– Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы: дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор; он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки; а когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, – то я перевязывала ему каждый день руку, пока не зажило.

– Так-то оно так, – возразила маленькая Менжетта, – но, дорогая, все-таки он сумасшедший, и ни его привязанность, ни признательность, ни дружба – ничто не поможет, коли он разъярится. Ты подвергла себя большой опасности.

– Еще бы, – подтвердил Подсолнечник. – Разве он не грозил убить тебя топором?

– Да, грозил.

– И грозил несколько раз?

– Да.

– И ты не испытывала страха?

– Нет... по крайней мере, не очень – чуть-чуть.

– Почему же ты не испугалась?

Она с минуту подумала и сказала простодушно:

– Не знаю.

Этот ответ всех рассмешил. И Подсолнечник сказал, что это похоже на то, как если бы овца старалась додуматься, почему это ей удалось съесть волка, но не сумела бы объяснить.

– Почему ты не побежала вместе с нами? – спросила Сесиль Летелье.

– Потому что необходимо было водворить его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь. А тогда и ему самому не уйти бы от беды.

Замечательно, что этот ответ, из которого ясно, до какого самозабвения, до какого полного равнодушия к собственной опасности доходила Жанна, помышлявшая и заботившаяся только о спасении других, – ответ этот был принят нами как очевидная истина, и никто из

присутствующих не оспаривал его, не вдавался в рассуждения, не возражал. Это показывает, как ясно обрисовывался ее нрав и как хорошо он был всем известен.

Наступило молчание; быть может, мы все в это время думали об одном: о том, какую жалкую роль мы сыграли в этом приключении и как мы были далеки от Жанны. Я пытался придумать какой-нибудь хороший предлог, которым мог бы объяснить, почему я убежал и оставил беззащитную девочку на произвол вооруженного топором безумца; но все объяснения, приходившие мне в голову, казались мне такими жалкими и шаткими, что я отказался от своей затеи и продолжал молчать. Но не все были столь же благоразумны. Ноэль Ренгесон потоптался-потоптался да и брякнул, сразу показав, чем были все время заняты его мысли:

– По правде сказать, я был захвачен врасплох. В этом все дело. Имей я хоть минуту, чтобы опомниться, я не побежал бы, как не побежал бы от грудного младенца. Ведь, в конце-то концов, кто такой Теофиль Бенуа, и чего ради я стал бы бояться его? Фу! Неужели можно испугаться этого несчастного? Пусть бы он появился вот сейчас – я бы показал вам!

– И я тоже! – подхватил Пьер Морель. – Уж он у меня полез бы на это дерево проворнее, чем... ну да, вы увидели бы, каков я! А то – застигнуть человека врасплох – это, право... нет, я вовсе не хотел бежать, то есть бежать по-настоящему. Я и не думал бежать взаправду: я только хотел пошутить, а когда увидел, что Жанна стоит, а он грозит ей топором, то я едва сдержал себя, чтобы не кинуться на него и не выворотить у него все нутро. Я чувствовал неудержимый порыв сделать это, и если бы пришлось опять, то я так бы и поступил! Если он еще раз явится дурачить меня, то я...

– Полно, цыц! – презрительно перебил его Паладин. – Послушать вас, молодцы, так можно подумать, что большое геройство – стоять лицом к лицу с этой жалкой развалиной человека! Да это – сущая безделица! Не велика честь справиться с *этим* – вот что скажу я вам. Да я не знаю, что может быть легче, чем стать лицом к лицу с целой сотней ему подобных. Явись он сейчас сюда, я бы подошел к нему – вот так, – не обращая внимания хоть на тысячу топоров, – и сказал бы...

И он все продолжал и продолжал описывать чудеса, которые он совершил бы, и храбрые речи, которые он говорил бы; а остальные время от времени вставляли свое словцо, тоже повествуя о грозных подвигах, которыми они отличатся, если этот безумец еще раз осмелится стать им поперек дороги. Уж в другой раз они будут наготове, и если он задумал вторично застать их врасплох, только потому, что один раз это ему удалось, – то они покажут ему, что он жестоко ошибается, – вот и весь сказ.

Итак, в конце концов им всем удалось восстановить свое доброе имя – даже кое-что прибавить к нему. И когда заседание кончилось, то каждый ушел, сохраняя в душе лучшее о себе мнение, чем когда-либо.

Глава VI

Тих и отраден был поток тех юных дней. То есть, вообще говоря, это было так, потому что мы жили далеко от театра войны; но по временам шайки грабителей бесчинствовали и вблизи наших мест, так что по ночам нам случалось видеть зарево подожженной фермы или деревни; и все мы знали или, по крайней мере, чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе – настанет и наш черед. Этот тупой страх угнетал нас, словно тяжелая ноша; страх сделался еще напряженнее года через два после договора в Труа.

Поистине то была для Франции година бедствий. Однажды мы перебрались на ту сторону, чтобы померяться силами (как это случалось не раз) с ненавистными мальчишками из Максэ – приверженцами бургундцев. Нас поколотили, и мы, избитые и усталые, возвращались на наш берег уже вечером, когда порядком стемнело. Тут на колокольне ударили в

набат. Мы пустились бегом и, добравшись до площади, застали там толпу взволнованных сельчан; лица их были озарены зловещим светом дымившихся ярких факелов.

На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и передавал народу вести, заставлявшие слушателей то плакать, то гневаться, то роптать, то проклинать. Наш старый безумный король умер, говорил он, и теперь мы, и Франция, и престол составляем собственность младенца английской крови, который лежит в своей колыбели в Лондоне. И он убеждал нас принести этому ребенку свои верноподданнические чувства и быть его преданными слугами и доброжелателями; и он говорил, что теперь наконец у нас будет правительство могучее и незыблемое и что в коротком времени английская армия соберется в последний поход; но поход тот закончится скоро, потому что довершить осталось лишь немного – осталось завоевать кое-какие клочки нашей страны, остающиеся под этой редкостной и почти забытой тряпкой – под знаменем Франции.

Народ бушевал и порывался кинуться на него; десятки людей грозили ему кулаками, вздетыми над морем освещенных лиц; то была дикая и волнующая картина. И патеру подстать было занимать в этом зрелище первое место: он стоял среди яркого света и с полным равнодушием и спокойствием смотрел вниз на этих раздраженных людей, так что нельзя было не преклониться перед его поразительным самообладанием, хотя в то же время хотелось бы сжечь его на костре. И его заключительные слова своей холодностью превзошли все остальное; он рассказал им, как при погребении нашего старого короля французский герольдмейстер преломил свой должностной жезл над гробом *Карла VI и его династии*, произнеся при этом во всеуслышание: «Генриху, королю Франции и Англии, нашему верховному государю, многая лета!» – и он предложил народу возгласить вместе с ним сердечное «аминь» *этому* пожеланию.

Все побледнели от ярости. У всех язык точно прилип к гортани, и некоторое время никто не мог говорить. Но Жанна стояла совсем рядом; она взглянула ему в лицо и произнесла спокойным, серьезным тоном:

– Я хотела бы видеть, как голова у тебя слетит с плеч! – и после минутного молчания добавила, осенив себя крестным знаменем, – если бы на то была воля Божья.

Это стоит запомнить, и вот почему: то были единственные жестокие слова, какие Жанна сказала за всю свою жизнь. Когда я расскажу вам о всех бурях, о всех несправедливостях и притеснениях, которым она подвергалась, то вы подивитесь, что она только один раз в жизни молвила горькое слово.

С того дня, как пришли эти печальные вести, мы жили в постоянном страхе; грабители то и дело добирались чуть не до наших дверей. Опасность надвигалась все ближе и ближе, но по милости неба мы до сих пор избегали погрома. Но наконец наступила и наша очередь. Случилось это по весне 1428 года. В глухую темную полночь бургундцы нагрянули с шумом и гамом, и мы повскакали с постелей, чтобы бегством спасти себе жизнь. Мы направились по пути к Нешато и неслись как угорелые, в полном беспорядке, – каждый старался обогнать других, каждый мешал другому. Но Жанна – только одна из всех нас – не потеряла хладнокровия и создала порядок из этого хаоса. Она сделала это быстро, уверенно и распорядительно, и наше паническое бегство вскоре превратилось в правильное, размеренное шествие. Согласитесь, что для такой молоденькой девушки – это был немалый подвиг.

Ей было теперь шестнадцать лет; статная и стройная, она отличалась такой необычайной красотой, что я мог бы использовать всю цветистость языка для описания ее наружности – и все же не перейти пределов истины. Кроткое и ясное чело ее было верным отражением чистоты ее духовной природы. Она была глубоко религиозна. Часто бывает, что религиозность придает человеку какой-то грустный облик. Но она была не такова. Ее религия наполняла ее внутренним довольством и отрадой; и если она по временам бывала встревожена и ее

лицо и осанка изобличали переживаемое ею страдание, то это была скорбь о своей родине, скорбь, ни единая доля которой не проистекала от веры.

Значительная часть нашей деревни была разгромлена, и когда мы получили возможность без опасения вернуться назад, то нам пришлось испытать на себе все те страдания, от которых много лет – десятки лет! – изнывал народ во всех других краях Франции. В первый раз мы увидели разрушенные, обгорелые стены; наткнулись на улицах на туши бессловесных животных, убитых только ради потехи, – в их числе были телята и овцы, любимцы детей, и тяжело было видеть малышей, плакавших над погибшими друзьями.

Налоги, налоги! Каждый думал об этом. Каково будет нести это бремя теперь при разоренной общине! И лица у всех вытянулись при этой мысли. Жанна сказала:

– Много лет уже вся остальная Франция платит налоги, не имея, чем платить. Но мы до сих пор не испытали этой горькой напасти. Теперь узнаем.

И она продолжала говорить о том же. Волнение ее возрастало. Ясно было, что эта забота наполняет все ее мысли.

Наконец мы увидели нечто ужасное. То был безумец, – исколотый кинжалами и изрубленный на куски в своей железной клетке, на углу площади. Кровавое и страшное зрелище! Едва ли кто из нас, молодежи, видел когда-нибудь раньше человека, погибшего от насильственной смерти; оттого этот мертвец как-то зловеще приковал к себе наше внимание – мы не могли оторвать глаз от него. Впрочем, не на всех он подействовал именно так; на всех нас, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не соглашалась вторично взглянуть на убитого. В этом было поразительное предуказание, что мы – лишь рабы привычки; предуказание того, как сурово и жестоко иногда относится к нам судьба. Ибо было предопределено, что спокойно доживут до старости именно те из нас, которых наиболее заворожило это зрелище кровавой и жестокой смерти, между тем как она, с врожденным и глубоким ужасом отвращавшаяся от крови, вскоре должна была видеть ее изо дня в день на полях сражений.

Вы легко можете поверить, что теперь у нас было вдоволь о чем потолковать; разгром нашей деревни казался нам величайшим событием мира. Ведь эти простодушные крестьяне в действительности еще ни разу не оценили во всей полноте размеров тех событий мировой истории, которые находили смутный отзвук в их представлениях, – хотя им и казалось раньше, что они сознают сущность дела. Мелкое, но мучительное происшествие, представшее их телесным взорам и испытанное ими на собственной шкуре, – фазу сделалось для них важнее самых величественных деяний давно минувшей старины, о которых они знали понаслышке. Теперь забавно вспомнить, как разглагольствовали тогда наши старики. То-то они сердились да ныли!

– Да! – сказал старый Жак д'Арк. – Времена настали, нечего сказать. Надо бы довести об этом до сведения короля. Пора уж ему перестать бездельничать да мечтать – пусть примется за свое дело по-настоящему. – Он имел в виду нашего молодого, лишенного наследства короля, бездомного изгнанника, Карла VII.

– Правильно сказано! – заметил мэр. – Надо бы сообщить ему. Разве можно терпеть такие вещи! Ты тут не знаешь, где преклонить голову, а он себе прохлаждается! Надо об этом разгласить – непременно надо! Пусть узнает вся Франция!

Послушать их, так можно было подумать, что все предшествовавшие десять тысяч погромов и поджогов были выдумкой, а только наш – настоящий. Так уж всегда: пока в беде твой сосед – ничего, довольно одних разговоров; а попадешь сам в беду – значит, пора королю встряхнуться и взяться за *дело*.

Великое событие вызвало много толков и среди нас, молодежи. Пасем стада – и говорим без умолку. Мы уж начали изрядно важничать: мне было восемнадцать, а остальным на год, даже на четыре больше, – во всяком случае, уже не дети. Однажды Паладин начал высокомерно разносить французских генералов-патриотов.

– Взгляните на Дюнуа, на побочного Орлеана, – какой же он генерал! Пусть только меня назначат на его место – я не стану говорить, что именно я сделаю: болтать языком вовсе не по моей части; я предпочитаю действовать, пусть болтовней занимаются другие. Но только поставьте меня на его место – вот и все! А возьмем хоть Сентрайля – просто тьфу! А этот хвастливый Ла Гир – неужели, по-вашему, и он генерал?

Всем было как-то не по себе видеть такое презрительное отношение к этим великим именам. Ведь в наших глазах эти знаменитые полководцы были почти богами. Они, величественные и далекие от нас, представлялись нам какими-то смутными, огромными призраками, какими-то грозными тенями; и жутко было говорить о них как о простых смертных и запанибрата разбирать или осуждать их поступки. Жанна вспыхнула.

– Не понимаю, – сказала она, – как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях: ведь они – истинные столпы французского государства, которое они поддерживают по мере сил своих и спасают ценою ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, так я сочла бы великим счастьем, если бы мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них – взглянуть только издали, потому что я недостойна близко подойти к ним.

На минуту Паладин смутился, прочитав в наших лицах, что слова Жанны были выражением наших общих чувств. Но он тотчас оправился и снова принялся разносить все в пух и прах.

Жан, брат Жанны, заметил ему:

– Если тебе не по нутру то, что делают наши генералы, то почему же ты сам не отправишься на великую войну и не исправишь их ошибок? Ты все толкуешь о снаряжении в поход, а сам – ни с места.

– Вот как! – возразил Паладин. – Легко сказать: иди! Изволь, я объясню, почему я остаюсь здесь и изнываю от мирного бездействия, столь противного моей природе, как ты знаешь. Я не иду, потому что я не дворянин. Вот в чем все дело. Что может в такой войне сделать один солдат? Ничего! Он не смеет думать о повышении. Будь я дворянином – неужели я остался бы здесь? Да ни единой минуты! Я спас бы Францию... Ладно, смейтесь себе, но я-то знаю, какие силы таятся во мне, я знаю, что кроется под этой крестьянской шапкой. Я могу спасти Францию, и я готов сделать это – только не при настоящих условиях. Если я нужен – пусть пришлют за мной; а нет – сами будут виноваты. Но я не тронусь с места, пока меня не сделают офицером.

– Увы! Бедная Франция – Франция погибла! – заметил Пьер д'Арк.

– Чем фыркать на других, отчего тебе самому не отправиться на войну, Пьер д'Арк?

– О, за мной ведь тоже еще не прислали. Притом я такой же дворянин, как и ты. Но я пойду на войну; обещаю пойти. Я обещаю пойти в качестве рядового, под твоей командой, Паладин, – когда за тобой пришлют.

Все засмеялись, а Стрекоза сказал:

– Так скоро? В таком случае тебе надо приготавливаться; тебя, пожалуй, позовут уж лет через пять – кто знает? Да, я уверен, что ты отправишься на войну через пять лет.

– Он отправится раньше, – сказала Жанна.

Она произнесла это тихо и задумчиво, но ее слова были услышаны всеми.

– Откуда ты знаешь, Жанна? – удивленно спросил Стрекоза. Но его перебил Жан д'Арк.

– Я тоже хотел бы пойти, но так как я слишком молод, то тоже подожду и отправлюсь, когда пришлют за Паладином.

– Нет, – сказала Жанна, – он отправится вместе с Пьером.

Она точно говорила сама с собой – вслух, но бессознательно; и на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее; ее вязальные спицы бездействовали, лицо ее сделалось каким-то мечтательным, не от мира сего. Губы ее слегка двигались, как будто она произносила про себя отрывки фраз. Но она говорила беззвучно: я стоял ближе всех и ничего не

слышал. Однако я насторожил уши, потому что те две фразы несказанно поразили меня: я суеверен, и всякая мелочь, если она необычна и странна, легко может взволновать меня.

Нозль Ренгесон сказал:

– Есть только одно средство, которое могло бы спасти Францию. У нас в деревне есть, по крайней мере, хоть один дворянин. Почему бы Школяру не поменяться с Паладином своим именем и званием? Тогда он сделался бы офицером, Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полчища бургундцев и англичан.

Школяр – это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать.

Хор одобрения был ответом на шутку Нозля. А Подсолнечник добавил:

– Вот это будет в самый раз, этим устраняются все затруднения. Сьер де Конт охотно согласится. Да, он отправится в поход под командой Паладина и падет во цвете лет, покрытый славой простого солдата.

– Он пойдет вместе с Жаном и Пьером и будет жить, пока не забудется эта война, – пробормотала Жанна, – и в одиннадцатом часу Нозль и Паладин присоединятся к ним, но не по доброй воле.

Ее голос был так тих, что я не могу поручиться за точную передачу слов; во всяком случае, так мне послышалось. Жутко слышать такие вещи.

– Итак, – продолжал Нозль, – все налажено; осталось только сплотиться под знаменем Паладина и идти освобождать Францию. Вы все примкнете к нам?

За исключением Жака д'Арк, все изъявили согласие.

– Прошу уволить меня, – сказал Жак. – Беседа о войне – вещь прекрасная, и в этом я всегда вам сочувствовал, и я всегда думал, что пойду в солдаты, как только сделаюсь большим. Но вид нашей разгромленной деревни и этот изуродованный, кровавый труп безумца показали мне, что я вовсе не создан для такой работы и для подобных зрелищ. Это ремесло мне не по нутру. Подставлять себя под удары меча, под выстрелы пушек, идти на смерть? Это не по мне. Нет-нет, – на меня не рассчитывайте. К тому же я ведь старший из сыновей, я – будущая опора и защита семьи. Раз уж вы собираетесь взять на войну Жана и Пьера, то должен же кто-нибудь остаться здесь, чтобы позаботиться о Жанне и другой сестре. Я останусь дома и доживу до спокойной и безмятежной старости.

– Он останется дома, но не доживет до старости, – пробормотала Жанна.

Болтовня продолжалась в том жизнерадостном и беззаботном тоне, который является достоянием юности. Паладин рассказывал планы своих походов, вступал в свои битвы, одерживал победы, истреблял англичан, возводил короля на престол и возлагал ему на голову корону. Мы спросили, что он скажет, когда король предложит ему самому назначить себе награду. У Паладина ответ был уже готов заранее, и он произнес без запинки:

– Он должен дать мне герцогство, сделать меня главным пэром и возвести меня в сан наследственного великого коннетабля Франции.

– И женить тебя на принцессе, – ты ведь не забудешь упомянуть и об этом?

Паладин немного покраснел и резко возразил:

– Пусть оставляет принцесс при себе – я найду невесту сам, по своему вкусу.

Он имел в виду Жанну, хотя в то время никто не догадался. Если бы догадались, то Паладина подняли бы на смех за его самомнение. Во всей деревне никто не был достоин Жанны; всякий сказал бы так.

Каждый из присутствовавших, по очереди, должен был сказать, чего он потребовал бы от короля, если бы мог поменяться местами с Паладином и совершить те чудеса, которые тот собирался привести в исполнение. Ответы были шутливые, и каждый старался превзойти остальных беспредельностью притязаний. Дошла очередь до Жанны, и когда ее вызвали из мира грез и попросили высказаться, то пришлось объяснить ей в чем дело, так как ее мысли были далеко и она не слышала последней части нашего разговора. Она подумала, что от

нее ждут серьезного ответа, и ответила искренно. Некоторое время она молчала, обдумывая, затем сказала:

– Если бы дофин, по своему милосердию и благородству, сказал мне: «Вот теперь я богат и восстановлен в правах своих; выбирай, и дастся тебе», – то я опустилась бы на колени и попросила бы его приказать, чтобы наша деревня на вечные времена была освобождена от налогов.

Это было сказано так просто и от всего сердца, что растрогало нас, и мы не засмеялись, но задумались. Мы не засмеялись. Но наступил день, когда мы с печальной гордостью вспомнили эти слова, и мы порадовались, что не смеялись над ними, потому что тогда мы поняли, сколько благородства было в ее словах, и увидели, с какой прямоотой она оправдала их в свое время, прося у короля именно этой милости и не желая ничего для себя самой.

Глава VII

Все свое детство и до четырнадцати с лишком лет Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне; вечная попрыгунья, вечная хохотушка, заразительно и счастливо смеявшаяся! И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, за пленительность и прямооту обращения ее любили все решительно. Она всегда горячо любила отчизну, и по временам вести о войне отрезвляли ее настроение, терзали ей сердце и знакомили ее с горечью слез; но всякий раз, лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной.

Но вот уже года полтора, как настроение Жанны изменилось, сделалось сосредоточенным; она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги, другие же приписывали ее рассеянность религиозному самозабвению; она почти ни с кем не делилась своими мыслями, но мне кое-что сообщала, и потому я лучше других знал, чем поглощены ее помыслы. Нередко мне приходило в голову, что у нее есть тайна – тайна, которую она всецело хранит в себе, скрывая и от меня и от других. Эта догадка зародилась во мне потому, что несколько раз она останавливалась на полуслове или переменяла предмет разговора в такую минуту, когда казалось, что она готова нечто поведать. Мне суждено было раскрыть эту тайну, только не тотчас.

На другой день после описанного разговора мы все были на пастбище и, по обыкновению, принялись толковать о Франции. Ради Жанны я до сих пор всегда старался говорить с надеждой на лучшее будущее; но я лгал, потому что в действительности во всей Франции не на чем было повесить клочка надежды. А лгать ей в глаза было так мучительно; так стыдно было преподносить это предательство той, кто была белоснежно чиста от вероломства и лжи, той, кто даже не подозревала о существовании подобной низости в других; так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все сызнова, и никогда больше не оскорблять ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал (и, конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка – вторая натура, и ее никак не вышвырнешь сразу в окошко, приходится ласково уговаривать ее сойти вниз, ступень за ступенью):

– Жанна, прошлой ночью я все думал о том же и пришел к выводу, что мы все время заблуждались; что положение Франции отчаянно; что оно было отчаянным еще со дня битвы при Азенкуре и что теперь оно более чем отчаянно – оно безнадежно.

Я говорил, но не смел посмотреть ей в лицо. Да и кто решился бы на моем месте? Разбить ее сердце, разрушить надежды такой неприкрашенной, жестокой речью, не смягчив ее ни единым благотворным словом, – как это было постыдно! Но вот я кончил, от сердца отлегло, и совесть моя воспарила ввысь; и я взглянул, как это на нее подействовало.

Никак. По крайней мере, не того я ждал. В ее задумчивых глазах было чуть заметное выражение изумления – вот и все. И она произнесла, просто и невозмутимо, как всегда:

– Положение Франции безнадежно? Почему ты думаешь так? Объясни.

Если вы боитесь чего-то неотвратимого, что должно причинить боль дорогому вам человеку, то как отрадно видеть, что ваши опасения оказались напрасными! Я почувствовал облегчение и теперь мог высказаться вполне, без утайки, без смущения. И я приступил:

– Оставим в стороне тонкие чувства и патриотические мечтания и разберем действительную суть дела. Что же мы видим? Обстоятельства дела так же красноречивы, как цифры в счетной книге купца. Достаточно подсчитать оба столбца, чтобы убедиться в несостоятельности французского торгового дома и увидеть, что на половину его собственности уже наложен запрет английским шерифом³, тогда как другая половина – неизвестно в чьих руках: во власти тех безответственных грабителей и разбойников, которые никому не приносят присяги. Наш король, позорно бездейственный и обнищавший, заперт со своими любимыми царедворцами и шутами в крохотном уголке своего королевства и нигде не имеет власти, не имеет за душой ни гроша, не имеет ратников; он не сражается и не намерен сражаться, не помышляет о дальнейшем сопротивлении. Поистине, единственное, к чему он готовится, это – махнуть рукой на все, бросить корону в канаву и убежать в Шотландию. Вот обстоятельства дела. Верно ли?

– Да, все верно.

– Значит, так оно и выходит: стоит только подсчитать, и вывод ясен.

Она спросила спокойным и ровным тоном:

– Какой вывод? Что дело Франции проиграно?

– Очевидно. Разве можно сомневаться в этом, если налицо такие данные.

– Как ты можешь думать это? Как ты можешь *чувствовать* так?

– Как я могу? А разве я могу думать или чувствовать иначе перед лицом очевидности? Жанна, неужели, видя эти роковые цифры, ты действительно питаешь какую-нибудь надежду?

– Надежду?! Больше того. Франция вернет себе свободу и сохранит ее. Не сомневайся в этом.

Мне начало казаться, что на ее ясный ум нашло временное затмение. Очевидно, это было так, иначе она поняла бы, что все данные могли говорить только *об одном*. Может быть, если я перечислю все снова, она увидит? Итак, я сказал:

– Жанна, твое сердце, которое боготворит Францию, обмануло твой разум. Ты не замечаешь важности этих цифр. Вот я набросаю тебе общую картину – начерчу палкой на земле. Здесь вот я грубо обрисовал Францию. Посередке, с востока на запад, провожу реку.

– Так – Луару.

– Ну, вся северная половина страны – в цепких когтях англичан.

– Да.

– А вот эта часть – южная половина, – в ничьих руках, как это признано нашим королем, ибо он готовится к бегству в чужие страны. У Англии здесь стоят войска; сопротивления никакого; она может занять всю страну, когда ей вздумается. Поистине, Франции нет, вся Франция уже погибла, Франция перестала существовать. То, что было Францией, теперь – британская провинция. Верно ли?

Ее голос был тих, слегка взволнован, но отчетлив:

– Да, верно.

– Прекрасно. Теперь добавь одно решающее обстоятельство, и сумма получится полная. Когда французские войска одержали последнюю победу? Шотландские войска, правда,

³ Старинная должность в Англии – исполнитель судебных приговоров.

несколько лет тому назад одержали одну или две жалкие победы под нашим знаменем, – но я говорю о французских. С тех пор, как восемь тысяч англичан двенадцать лет назад почти истребили при Азенкуре шестнадцать тысяч французов, – с тех пор французская доблесть надломлена. И теперь вошло в пословицу, что пятьдесят французских солдат побегут, задев пятерых английских.

– Прискорбно, но даже и это правда.

– Значит, пора надежды, несомненно, миновала.

Я был уверен, что теперь она ясно увидит все.

Я думал, что теперь она поневоле убедится в моей правоте и признает сама, что больше нет никакой надежды. Но я ошибался; я был разочарован. Она ответила без малейшей тени сомнения:

– Франция воспрянет. Увидишь.

– Воспрянет? Когда на ее спине это тяжелое бремя неприятельских войск?

– Она сбросит это бремя; она растопчет его.

Это было сказано с воодушевлением.

– Не имея солдат, будет сражаться?

– Барабанный бой созовет их. Они откликнутся, они выступят в поход.

– Выступят спиной к врагу?

– Нет, лицом к врагу – вперед – все вперед! Увидишь сам.

– А нищий король?

– Он взойдет на престол, он наденет венец.

– Ну, по правде сказать, от таких речей голова кругом идет. Кабы я мог верить, что через тридцать лет будет свергнуто английское владычество и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти...

– Не пройдет и двух лет, как совершится и то, и другое.

– Будто бы? А кто же совершит все эти дивные невозможности?

– Бог.

Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ.

* * *

Откуда у нее взялись эти странные мысли? Вопрос этот неотступно занимал меня в течение двух или трех последующих дней. Неизбежно возникала догадка – не помешалась ли она? Чем иначе объяснить все это? Грустные, неустанные думы о невзгодах Франции поколебали ее сильный разум и населили ее фантазию несбыточными призраками. Да, это, несомненно, так.

Но я следил за ней, подвергал ее испытаниям, – и приходилось разубеждаться. Ее взгляд был по-прежнему ясен и сознателен, ее поступки естественны, ее речи связны и толковы. Нет, ее разум не помутился, он по-прежнему был самым светлым и здравым во всей деревне. Она продолжала думать за других, брала на себя чужие заботы, жертвовала собой ради других – как всегда. Она продолжала ухаживать за больными и убогими и по-прежнему была готова уступить свою постель страннику, устроившись сама на полу. Тайна существовала, но не в помешательстве была ее разгадка. Это было очевидно.

Наконец ко мне в руки попал ключ от ее тайны. И вот как это случилось. Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказать, но вы не слышали ни одного рассказа очевидца.

Однажды – это было 15 мая 1428 года – я возвращался, идя с той стороны холма; достигнув опушки дубового леса, я только что собирался выйти на поросшую дерном поляну, где стоял волшебный бук, но сначала взглянул из-за кустарника – и попятился назад,

спрятавшись под покровом листвы. Дело в том, что я увидел Жанну, и мне захотелось как-нибудь подшутить над ней. Подумать только: эта пошлая затея едва не соприкоснулась с событием, которому суждено навеки запечатлеться в истории и в народных песнях!

День был пасмурный, и над зеленой поляной, где стояло Древо, простиралась мягкая, богатая тень. Жанна сидела на природной скамейке, образованной большими узловатыми корнями Древа. Руки ее покоились на коленях. Она слегка склонила голову к земле, и было заметно, что она углубилась в думы, витает в мире грез, забыла о себе самой и об окружающем мире. И тут я заметил нечто чрезвычайно странное: то была *белая* тень, медленно скользящая по траве, по направлению к Древу. Тень была величественна по своим размерам – какой-то крылатый призрак, в мантии. И белизну тени я не решился бы с чем-либо сравнить, разве – с белизной молнии. Но даже у молнии не бывает такой поразительной белизны: на молнию можно смотреть без боли, а этот блеск был так ослепителен, что я почувствовал боль в глазах и прослезился. Я обнажил голову, догадавшись, что стою перед чем-то не от мира сего. Страх и трепет овладели мной, так что мое дыхание стеснилось и замерло.

Другая странность. Лес только что безмолвствовал, в нем царила та глубокая тишина, которая наступает при появлении темной грозовой тучи, когда все лесные твари в испуге умолкают. Теперь же все птичьи голоса сразу слились в одну общую песнь, исполненную неопишуемого ликования, воодушевления, восторга; и песнь была столь красноречива и трогательна, что я не мог больше сомневаться: совершалось божественное таинство. При первом же звуке птичьих голосов Жанна упала на колени и низко склонила голову, скрестив на груди руки.

Она еще не видала тени. Не птицы ли возвестили ей о ее приближении? Вероятно, да. В таком случае это должно было повторяться и раньше. Да, в том не может быть сомнения.

Тень медленно приближалась; вот она коснулась Жанны, озарила ее, окутала своим грозным великолепием. В этом сиянии бессмертия ее лицо, до тех пор лишь человечески прекрасное, приобрело божественную красоту. Ее простое крестьянское платье, преобразенное этим потоком лучей, уподобилось одеянию тех светозарных Божьих детей, сидящих на ступенях Престола, которых мы встречали в наших сновидениях и грезах.

Вот она встала; голова ее все еще была немного наклонена, руки опустились, и пальцы слегка переплелись. Она стояла вся пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознававшая того, и словно вслушивалась, – однако я ничего не слышал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто ей приходилось глядеть в лицо великану, – и сложила руки, высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить. Я разобрал некоторые слова. Я расслышал, как она говорила:

– Но я так молода! Ах, я слишком молода, чтобы оставить свою мать и родные места, пойти в чуждый мне мир и взяться за такое великое дело! Ах, как я могу говорить с мужчинами, быть их сотоварищем, да еще с солдатами! Я должна буду терпеть оскорбления, обиды, презрительные насмешки. Как я могу пойти на великую войну и стать во главе полчищ? Я, девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая владеть оружием, ни ездить верхом... Но если так повелено...

Ее голос дрогнул, прервался рыданиями, и я не мог больше расслышать ее слова. И тогда я опомнился. Я познал, что вторгаюсь в тайну Божию, – какова же будет мне кара за это? Я испугался и углубился подальше в лес. Тут я сделал зарубину на стволе дерева, говоря себе, что, быть может, я сплю и никакого видения не было. Я вернусь сюда, когда буду наверно знать, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя отметина на месте. И тогда я узнаю.

Глава VIII

Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул: как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе: значит, сон еще не кончился; все это был только сон – и голос, и тень, и все остальное; это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы разогнать чары. Теперь я знал, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился; я тотчас вышел из зарослей; передо мной действительно была Жанна, но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад, когда у нее на сердце было легко, на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление, возгорелся пламень, и в ее лице, в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного забытья. Поистине, казалось, что она только что была где-то далеко, недостижимая для нас, – и вернулась к нам, наконец; и мне сделалось так радостно, что я хотел бы созвать всех сюда, чтобы поздравили ее с прибытием. Взволнованный, я подбежал к ней и сказал:

– Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное! Ты и представить себе не можешь! Я видел сон: ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас, и...

Она подняла руку и сказала:

– То не был сон.

Я опешил; боязнь опять начала овладевать мною.

– Не сон? Почему же ты знаешь, Жанна?

– Спишь ли ты сейчас?

– Я... я думаю, что нет. Вероятно, нет.

– Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь. И ты не спал и тогда, когда делал отметку на дереве.

Я похолодел от ужаса, потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то не от мира сего. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю – ту землю, которой коснулась священная тень. Я ринулся прочь, содрогаясь от страха. Жанна догнала меня.

– Не бойся; пугаться нечего, – сказала она. – Пойдем со мной. Сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну.

Она уже готова была начать, но я перебил:

– Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу; как же ты узнала, что я сделал отметку на дереве?

– Подожди. Дойдем и до этого, узнаешь все.

– Но объясни мне теперь хоть одно: чья это была грозная тень?

– Изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень архангела Михаила, вождя и начальника рати небесной.

Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю.

– Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан?

– Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уж не в первый раз. А в первый раз – боялась.

– Когда это было, Жанна?

– Года три тому назад.

– Так давно? И много ли раз ты видела его?

– Да, много.

– Вот почему ты так переменилась; вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь понимаю. Почему ты никому не рассказывала об этом?

– Мне не было позволено. Теперь можно, и вскоре я расскажу обо всем. Но пока – только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной.

– А раньше никто не видел этой белой тени?

– Никто. Она нисходила на меня несколько раз, когда были тут и другие, и ты, но никто не мог ее увидеть. Сегодня было иначе; и мне сказано почему. Но больше она никогда не будет видима.

– Значит, в этом было знамение мне? Знамение, имеющее особый смысл?

– Да, но я не имею права говорить об этом.

– Странно, что этот ослепительный свет может явиться перед твоими глазами, а ты его и не заметишь.

– Он сопровождается голосами. Являются несколько святых, сопровождаемые сонмами ангелов, – и говорят со мной; я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне – мои *Голоса*; так я их называю.

– Что же они говорят тебе, Жанна?

– Разное. Все о Франции.

– О чем они больше всего говорили?

Она вздохнула.

– О бедствиях – все только о бедствиях, о неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать.

– Так они говорили тебе все это *заранее*?

– Да. Так что я знала наперед о всех грядущих событиях. И потому я была печальна, – как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было также и слово надежды. Больше того: Франции обещано освобождение, она получит назад свое величие и свою вольность. Но как и через кого, – о том не было сказано. Не было сказано до нынешнего дня.

При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем; впоследствии я видел этот огонь много раз, когда трубы призывали к атаке, и я прозвал его боевым огнем. Ее грудь трепетала, щеки оживились румянцем.

– Но сегодня я узнала. Господь избрал для этого дела недостойнейшее из созданий Своих. И по Его повелению, под защитой Его десницы и Его всемогущества – не по своей воле – я должна повести его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на главу Его слуги, дофина, которому надлежит сделаться королем.

Я был поражен.

– Ты, Жанна? Ты, ребенок, поведешь рать за ратью?

– Да. На одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня. Ведь я, как ты сказал, – еще ребенок; я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле; мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов? Но прошли минуты слабости и больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока, с Божьей помощью, Франция не освободится от когтей англичанина. Мои *Голоса* никогда не лгали, не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вокулера: он даст мне вооруженную свиту и пошлет к королю. Пройдет год – и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок.

– Где разразится?

– Мои *Голоса* не открыли мне этого, не открыли и того, что случится в течение года, до нанесения удара. Мне суждено нанести его – вот и все, что я знаю; и за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие, – в десять недель рухнут великие, многолетние труды англичан, и на главу дофина будет возложена корона – такова воля Господа; мои *Голоса* вещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется реченное ими, потому что они говорят только истину.

Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признало их правдой. Итак, сомневаясь разумом, я верил сердцем; я верил – и с того дня твердо поддерживал эту веру.

Я сказал:

– Жанна, я верю тому, что ты сказала. И теперь я рад, что мне суждено идти на войну, – то есть, если мне суждено идти с тобой.

Она с удивлением взглянула на меня и сказала:

– Правда, тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в походе, но откуда ты узнал?

– Я пойду с тобой; пойдут Жан и Пьер, но Жак останется.

– Верно, именно так и назначено; недавно мне было Откровение. Но только сегодня я узнала, что те пойдут вместе со мной и что сама я пойду. Откуда же ты узнал?

Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова. Но она не могла вспомнить. И я понял, что она тогда спала или была в забытьи, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих Откровениях; я обещал – и сдержал слово.

В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую в ней перемену. Ее движения и речи отличались особым рвением и решимостью; в ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя; и эта внешняя перемена красноречивее слов говорила о ее превосходстве, но без малейшего оттенка рисовки или хвастовства. Это спокойное сознание власти, спокойное, безотчетное его проявление с тех пор остались за нею, пока она не привела в исполнение свое великое дело.

Подобно другим жителям деревни, она всегда относилась ко мне с уважением, сообразно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами; она давала приказания – не советы, – и я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне:

– Я уйду отсюда перед рассветом. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению; он посмеется надо мной, будет груб и, быть может, на первый раз откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в Бюрэ, чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты можешь понадобиться мне в Вокулере: если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему; значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты двинешься отсюда после полудня и останешься в Вокулере, пока не минует надобность.

Я обещал повиноваться, и она пошла своей дорогой. Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все. Она не приказала мне идти вместе с ней; нет – она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня – дворянина; но нет – и это, как видите, не соответствовало бы ее желаниям. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина – как взглянули бы на это? Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение: отправиться в Вокулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову.

На следующий день, после полудня, я отправился в город и нанял там скромное помещение; через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня в следующий день на обед. Это был образцовый солдат того времени: высокий, загорелый, седой, грубоватый, он вечно произносил страшные проклятия, которых он набрался там и здесь во время походов и сохранял, как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и по его мнению, война была лучшим даром, ниспосланным

человеку Богом. На нем была стальная кираса, и он носил сапоги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру, и услышал всю эту диковинную ругань, и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей чувства и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости: она должна будет довольствоваться продиктованным посланием.

В следующий полдень я снова явился в замок; меня провели в обширную пиршественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении, отдельно от общей трапезы. Кроме меня, за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим – старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами, в шишаках и латах.

Беседа, конечно, шла все о том же – об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщал слух, что Сольсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие – что он успеет начать осаду только к шапочному разбору, третьи – что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор; только в одном все мнения сходились: Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Разительна и торжественна была эта внезапная, глубокая тишина, сменившая господствовавшее перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил:

– Хотят говорить со мной?

– Да, ваша милость.

– Гм... Странная затея, право! Приведи их сюда.

Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороге и ни за что не решался идти дальше, но продолжал стоять, комкая в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение охватили его. Но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой. Она узнала меня, но не показала и виду. Ее встретили гулом изумления, и даже губернатор пробормотал: «Ей-богу, ведь она прелестное создание!» Минуту-другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал:

– Ну, по какому делу ты явилась, дитя мое?

– Я послана к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего: вы должны послать к дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что Господь скоро пошлет ему помощь.

Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали: «Бедняжка не в своем уме». Губернатор нахмурился и произнес:

– Что это за чепуха? Король – или дофин, как ты его называешь, – не нуждается в вестях такого рода. Он подождет – на этот счет будь спокойна. Что еще желаешь ты мне сказать?

– Вот что: хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину.

– Зачем это?

– Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предуказано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его.

– Как... ты? Да ведь ты еще ребенок!

– И тем не менее, мне назначено совершить это.

– Будто бы? А когда все это должно случиться?

– В следующем году произойдет его коронавание, и после того он останется повелителем Франции.

Все разразились громким хохотом. Когда немного утихло, губернатор спросил:

– Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями?

- Мой Повелитель.
- Какой Повелитель?
- Царь Небесный.

Многие заговорили вполголоса: «Ах, бедняжка, бедняжка!» – «Разум-то у нее совсем помутился!» – Губернатор кликнул Лаксара и сказал:

– Эй, ты! Отведи-ка эту полоумную девчонку домой, да выпороть ее хорошенько! Самое лучшее будет лекарство.

Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно:

– Вы отказываетесь дать мне солдат – почему, я не знаю; ведь Господь повелел вам. Да, это Он приказывает; а потому я приду опять и опять и наконец получу вооруженную стражу.

По ее уходе долго шли разговоры; все дивились. А стража и слуги разнесли эти толки по городу; из города весть разнеслась по всей области, и в Домреми уже пересуживали ее на все лады, когда мы возвратились.

Глава IX

Природа человека повсюду неизменна: она благоговеет перед успехом, неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее своим шутовским выступлением и его смехотворным исходом. И все чесали об этом языки с такой же язвительностью и злобой, как и с усердием; счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки, хоть и не бранили ее, зато были еще злее и нестерпимее: они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и нощно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. Ометта, маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны; им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна и потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки и издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она, напротив, держалась с невозмутимым спокойствием, не выказывая ни грусти, ни злобы – и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство; но нет – оставалось по-старому. Ее отец был рассержен так, что не мог спокойно говорить о ее затее – отправиться на войну, точно она мужчина. Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем дозволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет братьям утопить ее, а если они не послушают, то он сделает это собственными руками.

Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни; но она говорила, что время еще не наступило; а когда наступит – ей будет указано, и тогда их бдительность не поможет.

Лето приближалось к концу; ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватились за представившийся случай, надеясь положить конец всем ее затеям. Выдать ее замуж! Паладин возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним, и потребовал теперь исполнения слова.

Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Туль, пытаясь привлечь к ответственности за нарушение брачного обета; и когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да оно и понятно: кто мог бы ожидать, что невежественная крестьянская девушка шестнадцати лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законоведов, среди леденящей, торжественной обстановки суда? И тем не менее, все ошибались. Собравшись в Туль, чтобы присутствовать при зрелище и насла-

диться ее испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. Она, со своей стороны, не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания; тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность, затем – вызвала Паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными расспросами все его предыдущие показания распались на лоскутья, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерия и лжи, в конце концов был как бы раздет донага. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключение несколько слов, весьма лестных для Жанны, которую величали не иначе, как «это дивное дитя».

После такой победы, после такой похвалы со стороны столь высокого собрания, переменчивая деревня поддалась новому течению и встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ею гордится. Но тем не менее, каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце: уже началась осада Орлеана, над Францией все больше сгущались черные тучи, а Голоса говорили «жди!» и не давали прямых указаний. Началась и тоскливо потянулась зима; но в конце концов наступила перемена.

Книга вторая При дворе и в стане



Глава I

Наконец 5 января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром.

– Время наступило, – сказала она. – Теперь мои Голоса не смутны, но отчетливы, и они сказали мне, что должно делать. Через два месяца я буду у дофина.

Ее настроение было восторженно, ее осанка – воинственна. Это передалось мне, и я почувствовал тоже какое-то неодолимое стремление; подобный порыв переживаешь, когда услышишь барабанный бой и топот идущего войска.

– Я верю! – сказал я.

– Я тоже верю, – произнес Лаксар. – Если бы она раньше сказала мне, что Господь повелел ей спасти Францию, – я не поверил бы; я предоставил бы ей самой, как умеет, пробиваться к губернатору, и постарался бы держаться подальше от всей этой кутерьмы, не сомневаясь, что Жанна спятила с ума. Но я видел, как безбоязненно она стояла перед теми знатными и сильными людьми, я слышал, как она сказывала свой сказ; ведь только с помощью Божьей она могла это сделать. В этом я убедился. А потому я отныне смиренно подчиняюсь ее приказаниям. Пусть поступает со мной, как хочет.

– Мой дядя очень добр, – сказала Жанна. – Я послала к нему с просьбой: пусть придет к нам и уговорит маму отпустить меня с ним, чтобы я могла поухаживать за его женой – она

больна. Это устроилось, и завтра мы отправляемся с рассветом. Из его дома я вскоре пойду в Вокулер – буду там ждать и домогаться, пока не получу просимого. Кто были те два рыцаря, что сидели тогда слева от тебя за столом губернатора?

– Один – сэр Жан де Новелонпон де Мец, другой – сэр Бертран де Пуланжи.

– Добрая сталь, добрая сталь и тот, и другой. Я наметила их себе в помощники... Что прочитала я на твоём лице? Сомнение?

Я приучал себя говорить ей всегда лишь неприукрашенную правду, а потому сказал:

– Они приняли тебя за помешанную – так и сказали. Правда, они сожалели о тебе, но все-таки назвали тебя безумной.

По-видимому, это несколько не встревожило и не обидело ее. Она только молвила:

– Мудрые люди меняют свои мнения, когда видят, что их взгляд был ошибочным. Так будет и с ними. Они отправятся со мной. Теперь я опять встречу с ними... Кажется, ты опять сомневаешься? Сомневаешься?

– Н-нет. Теперь нет. Мне лишь вспомнилось, что это было год тому назад и что они – не здешние; они случайно остановились здесь на один день во время путешествия.

– Они придут опять. Но к делу: я пришла, чтобы оставить тебе кое-какие распоряжения. Через несколько дней после моего ухода отправишься и ты. Устрой все свои дела, потому что твое отсутствие будет продолжительно.

– А Жан и Пьер пойдут со мной?

– Нет; сейчас они отказались бы, но вскоре придут и они, и принесут мне родительское благословение и согласие на то, чтобы я пошла навстречу своему призванию. Тогда я буду сильнее... это придаст им бодрости; а теперь я слаба, потому что мне недостает этого. – Она замолчала, и ее глаза наполнились слезами; затем она продолжала: – Я хотела бы проститься с маленькой Менжеттой; на рассвете приведи ее за околицу; пусть она немного проводит меня...

– А Ометта?

Жанна не выдержала и залилась слезами.

– Нет... о нет! – сказала она. – Слишком она дорога мне. Я не перенесла бы свидания, зная, что никогда не увижу ее лица.

На другое утро я пришел с Менжеттой и мы пошли по дороге, пока деревня не осталась далеко позади. Тогда обе девушки сказали друг другу последнее прости; долго они обнимались, долго изливали в ласковых словах свое горе. Грустная картина. И Жанна долго смотрела на далекую деревню, на «Древо фей», на дубовый лес, на цветущий луг, на реку, как будто она хотела запечатлеть все эти картины в своей памяти так, чтобы они вечно сохранялись, не побледили: она ведь знала, что никогда в жизни больше не увидит этого. Потом она повернулась и пошла своей дорогой, проливая горькие слезы. То был ее день рождения и мой. Ей исполнилось семнадцать лет.

Глава II

Через несколько дней Лаксар проводил Жанну в Вокулер и нашел ей там помещение у Катерины Ройе, жены пекаря, честной и доброй женщины. Жанна не пропускала ни одной обедни, помогала по хозяйству, – этим она платила за помещение и стол, – и если кому-нибудь приходила охота поговорить с ней насчет ее призвания, – а таких любителей было много, – то она беседовала свободно, ничего уже не скрывая. Я вскоре поселился неподалеку и подмечал, как относится ко всему этому население. Быстро разнеслась весть, что появилась молодая девушка, которой Бог повелел спасти Францию. Простой народ стекался толпами, чтобы взглянуть на нее и поговорить с ней, и ее юная красота сразу завоевывала ей

половину их доверия, а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и подтрунивали; ну, да их не переделаешь.

Вспомнили пророчество Мерлина; восемьсот лет миновало с тех пор, как он предсказал, что через многие годы Францию погубит женщина и женщина спасет. Вот Франция была погублена впервые – и погубила ее женщина, Изабелла Баварская, ее королева-предательница; и нет сомнения, что эта чистая и прекрасная молодая дева избрана Небом для завершения пророчества.

В этом было новое и могучее поощрение возраставшего любопытства; все больше и больше разгоралось волнение, а вместе с ним – надежда и вера. И волна за волной покатилося из Вокулера по всей стране это животворное воодушевление, разлилось вглубь и вширь, охватив все деревни, оновило и приободрило гибнувших сынов Франции. И из деревень потянулся народ, чтоб увидеть воочию и услышать самим; кто узрел и услышал, – тот веровал. Они переполнили город, больше того: харчевни и дома были набиты битком, и все-таки половина прибывших должна была остаться без крова. А они все прибывали, хоть стояла зима; когда алчет душа, то где тут думать о хлебе или пристанище, – лишь бы утолить свою более высокую потребность. День за днем, день за днем увеличивался этот многолюдный поток. Домреми была поражена, ошеломлена, сбита с толку. Деревня задавалась вопросом: «Неужели это мировое чудо все эти годы пребывало среди нас, а мы и не примечали?» Пришли из деревни Жан и Пьер; на них смотрели во все глаза, им завидовали, словно великим и счастливым мира сего. Их шествие в Вокулер было подобно триумфу; сбежался народ из окрестных деревень, чтобы увидеть и приветствовать братьев той, с которой ангелы беседовали с глазу на глаз, и в чьи руки, по воле Бога, они передавали судьбу Франции.

Братья принесли Жанне благословение и напутствие родителей, а также обещание, что они вскоре сами придут подтвердить ей это. И с этим беспредельным блаженством на сердце, с этим залогом счастливой надежды она вторично отправилась к губернатору. Но тот был столь же несговорчив, как раньше. Он отказался послать ее королю. Она была разочарована, но ничуть не пала духом.

– Все равно, – сказала она, – я должна буду приходить, пока не получу вооруженной свиты, потому что так повелено и я не могу не повиноваться. Я должна отправиться к дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях.

Я и оба брата навещали Жанну изо дня в день, чтобы видеть приходящий народ и послушать, о чем говорят. И однажды действительно явился сэр Жан де Мец. Он повел с ней речь в шутовском и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривают с детьми.

– Что ты тут подделываешь, девочка? Как ты думаешь, вытурят ли короля из Франции и превратимся ли мы все в англичан?

Она отвечала ему со своим обычным спокойствием и деловито:

– Я пришла просить Роберта де Бодрикура отвести или отослать меня к дофину, но он не внимлет моим словам.

– Поистине, твоя настойчивость поразительна; минул целый год, а ты не изменила своей прихоти. Я видел тебя, когда ты явилась в первый раз.

Жанна возразила с прежней невозмутимостью:

– Это не прихоть, но цель. Он даст согласие. Я могу ждать.

– Ах, дитя мое, благоразумно ли так твердо уповать на это? Губернаторы ведь упрямый народ, с ними скоро не сладишь. Ежели он не удовлетворит твоей просьбы...

– Удовлетворит. Он не может иначе. Ему не дано выбирать.

Шутливость дворянина начала пропадать – это видно было по его лицу. Убежденность Жанны передавалась ему. Всегда случалось так, что все, кто начинали с ней шутить, под конец становились серьезны, подмечали в ней такую душевную глубину, о которой раньше и не подозревали; а ее очевидная искренность и непоколебимая твердость ее убеждений

составляли силу, перед которой не могло устоять легкомыслие. Сэр де Мец вдруг немного призадумался. Затем произнес, уже без оттенка шутки:

– Необходимо ли тебе отправиться к королю так скоро? То есть, хочу я сказать...

– До наступления крестопоклонной недели. Хотя бы у меня отнялись ноги до самых колен.

Она произнесла это с тем скрытым огнем, который столь много говорит, когда взбаламучено сердце. Прочитали бы вы ответ на лице этого рыцаря, посмотрели бы вы, как загорелись его глаза! То было сочувствие. Он сказал:

– Бог свидетель – я верю, что ты получишь стражу и что из этого выйдет толк. Что же ты собираешься сделать? На что ты надеешься, и какова твоя цель?

– Спасти Францию. И мне предназначено совершить это. Ибо ни единый человек на всем свете, ни король, ни герцог, ни кто-либо другой, не может восстановить французское королевство, и неоткуда ждать помощи, помимо меня.

Эти слова были проникнуты и убежденностью, и искренностью порыва; они растрогали доброго дворянина. Я видел ясно. А Жанна добавила несколько упавшим голосом:

– Но поистине я предпочла бы сидеть со своей бедной матерью за веретеном, потому что не для того я была рождена. Однако я должна пойти и совершить это – такова воля моего Повелителя.

– Кто твой Повелитель?

– Бог.

И тогда сэр де Мец, исполняя древний и образный феодальный обычай, преклонил колено и вложил руки в руки Жанны, показывая тем, что он признает себя ее вассалом, и поклялся, что с помощью Божьей он сам проводит ее к королю.

На следующий день прибыл сэр Бертран де Пуланжи, и он также принес ей клятву и честью рыцаря обещал оставаться при ней и повиноваться ее указаниям.

И к вечеру в этот же день разнеслась великая молва по всему городу, будто сам губернатор собирается посетить юную деву в ее убогом жилище. Поутру все улицы и переулки наводнились народом: каждому хотелось увидеть, действительно ли сбудется столь невероятная вещь. И сбылось. Губернатор подъехал в полном параде, в сопровождении своей вооруженной свиты; известие о том разнеслось повсюду, поразило всех, положило конец насмешкам, и слава Жанны поднялась до небывалой еще высоты.

Губернатор поставил себе такой вопрос: Жанна – либо ведьма, либо святая; и он решил докопаться до правды. Поэтому он привел с собою священника, чтобы произвести изгнание беса, на случай, если она одержима нечистой силой. Патер совершил надлежащий обряд, но не обнаружил дьявола. Он лишь оскорбил Жанну в ее лучших чувствах и неизвестно зачем надругался над ее благочестием; ведь он перед тем исповедывал ее сам и должен был бы знать, – если только он вообще что-нибудь знал, – что бесы не могут присутствовать в исповедальне, но издают крики страдания и самые нечестивые проклятия, лишь только почувствуют близость этого святого таинства.

Губернатор вернулся встревоженный и задумчивый; он решительно не знал, что делать. А пока он размышлял и обдумывал, прошло несколько дней и наступило 14 февраля. Тогда Жанна пошла в замок и сказала:

– Во имя Господа, Роберт де Бодрикур! Вы слишком медлите, и, задерживая меня, вы тем самым причиняете вред, ибо сегодня дофин проиграл битву вблизи Орлеана, и он понесет еще больший урон, если вы не отошлете меня к нему как можно скорее.

Губернатор ушам не верил, слушая такую речь, и сказал:

– Сегодня, дитя, *сегодня*? Как ты можешь знать, что произошло в тех местах сегодня? Восемь или десять дней потребны, чтобы пришла оттуда весть.

– Мои Голоса принесли мне эту весть, и она истинна. Сегодня проиграна битва, и на вас лежит вина, если я до сих пор не двинулась в путь.

Губернатор некоторое время ходил взад и вперед по комнате, говоря сам с собою и иногда произнося какое-нибудь увесистое проклятие; наконец он сказал:

– Вот что! Ступай себе с миром и жди. Если окажется так, как ты говоришь, то я дам тебе грамоту и пошлю тебя к королю, – но не иначе.

Жанна ответила с жаром:

– Благодарение Богу, почти миновала пора ожидания. Через девять дней вы дадите мне грамоту.

Население Вокулера уже подарило ей коня и вооружило и снарядило ее как воина. У нее не было случая испытать коня и узнать, может ли она ездить верхом, потому что ее первой и главной обязанностью было – не покидать своего поста и внушать надежду и смелость всем приходящим к ней и подготавливать их к совместному подвигу освобождения и возрождения королевства. Исполнению этого долга она посвящала каждую минуту дня своего. Но не все ли равно, – не было ничего, чему она не могла бы научиться, и притом в кратчайший срок. Ее конь убедится в том с первого же часа езды. Между тем конем занялись братья Жанны да я: мы учились по очереди. Обучались мы также искусству владеть мечом и иным оружием.

20-го числа Жанна созвала свое маленькое войско – двух рыцарей, двух своих братьев и меня – на частный военный совет. Нет, то не был совет, – такое название не подошло бы, потому что она не совещалась с нами, но лишь отдавала приказания. Она начертала нам путь, которым намеревалась ехать к королю, и сделала это подобно человеку, в совершенстве знающему географию; и эта роспись ежедневных переходов была составлена так, что все особенно опасные места оставались в стороне благодаря фланговым движениям. Из этого видно, что политическую географию она знала так же хорошо, как физическую. И в то же время она ни одного раза не была в школе, ничему не училась. Я изумился, но тотчас подумал, что Голоса вразумили ее. Однако, по некотором размышлении, я заметил, что дело вовсе не в том. Она постоянно ссылалась на слова того, или другого, или третьего, и я понял, что она прилежно расспрашивала всех своих бесчисленных посетителей и на основании их сообщений терпеливо собрала всю эту сокровищницу знания. Оба рыцаря дивились ее здравому смыслу и проницательности.

Она приказала нам сделать все приготовления к путешествию, во время которого мы будем совершать переходы ночью, а спать – днем, в потаенных местах; почти весь долгий путь через неприятельскую страну нам предстояло совершить при таких условиях.

Кроме того, она приказала хранить в тайне день нашего отправления, потому что желала уйти незамеченной. В противном случае наше выступление было бы отпраздновано шумными проводами, а это могло бы послужить предупреждением врагу: нас подстерегли бы в засаде и взяли бы в плен. В заключение она сказала:

– Теперь мне только осталось сообщить вам день, когда мы выступим в поход, чтобы вы могли заблаговременно приготовить все, и чтобы не пришлось ничего делать кое-как и наспех в последнюю минуту. Мы отправляемся 23-го в одиннадцать часов вечера.

И она отпустила нас. Оба рыцаря были ошеломлены – и встревожены. И сэр Бертран сказал:

– Даже если губернатор в самом деле даст ей грамоту к королю и конвой, – он все-таки, быть может, не успеет сделать это к назначенному ею времени. Тогда как же она решается назначать день и час? Опасно, очень опасно выбирать и назначать время при такой неизвестности.

Я сказал:

– Раз она сказала 23-го, то мы можем ей довериться. Я думаю, Голоса поведали ей. Лучше всего – повиноваться.

И мы повиновались. Родителей Жанны уведомили, чтобы они пришли до 23-го числа, но из осторожности им не было сказано, почему назначен крайний срок.

23-го она целый день пытливо всматривалась в толпы стремившихся к дому новых посетителей, но ее родители не показывались. Однако она не теряла мужества, но продолжала надеяться. Но наступил вечер, и надежды ее рушились; она залилась слезами, но вскоре осушила их и сказала:

– Очевидно, так должно было случиться; очевидно, так суждено. Я должна перенести это – и перенесу.

Де Мец пытался утешить ее, говоря:

– От губернатора пока ничего не слышно. Они, быть может, придут завтра и...

Он не договорил, потому что она прервала его словами:

– Чего ради? Мы отправляемся сегодня вечером, в одиннадцать часов.

Так и сбылось. В десять часов явился губернатор в сопровождении свиты и факельщиков и привел ей отряд конной стражи, дал коней и вооружение мне и братьям Жанны и вручил ей грамоту на имя короля. Затем он снял свой меч и собственноручно опоясал им Жанну и сказал:

– Истинны были твои слова, дитя мое. Битва была проиграна в тот день. И вот я исполняю слово свое. Иди... будь что будет!

Жанна поблагодарила его, и он пошел своей дорогой.

Эта проигранная битва была тем знаменитым поражением, которое значится в истории под именем Сельдяной битвы.

Все огни в доме были сразу погашены, и через некоторое время, когда улицы погрузились в темноту и безмолвие, мы, никем не замеченные, миновали их и, выехав через западные ворота, помчались во весь опор, нахлестывая и прищипывая лошадей.

Глава III

Нас было двадцать пять человек, и все отлично вооруженные. Ехали мы попарно: Жанна и ее братья – посреди колонны, Жан де Мец – во главе, а сэр Бертран – в тылу. Рыцари были назначены на эти места, чтобы предупреждать попытки бегства – на первое время. Часа через два – три мы будем уже в неприятельской области, и тогда никто не осмелится дать тягу. Мало-помалу по всей линии начали в разных местах раздаваться стоны, оханья и проклятья; расспросив, в чем дело, мы узнали, что шестеро из нашего отряда – крестьяне, никогда раньше не ездившие верхом; им лишь с большим трудом удавалось держаться в седле, и к тому же теперь они начали испытывать изрядную боль. Губернатор в последнюю минуту велел схватить их и силой присоединить к нашему отряду, чтобы заполнить ряды; к каждому он приставил опытного воина с приказанием поддерживать их в седле и убивать при первой попытке бегства.

Эти бедняги вели себя тихо, пока были в силах; но их физические страдания столь обострились к этому времени, что они не могли долее крепиться. Однако теперь мы вступили во вражескую страну, где им неоткуда было ждать помощи; они принуждены были продолжать с нами путь, хотя Жанна разрешила им покинуть нас – если они не боятся. Они предпочли остаться. Мы убавили ходу и теперь подвигались с осторожностью; новобранцев предупредили, чтобы они таили свое горе про себя, а не подвергали весь отряд опасности своими ругательствами и жалобами.

К рассвету мы углубились в лес, и вскоре все, кроме часовых, заснуло крепким сном, несмотря на холодное земляное ложе и морозный воздух.

В полдень я очнулся от такого крепкого и одуряющего сна, что сначала не мог привести в порядок свои мысли и не знал, где нахожусь и что случилось. Понемногу моя голова прояснилась, и я вспомнил все. Я лежал, раздумывая о необычайных событиях последнего месяца, и вдруг мне пришла в голову мысль, сильно меня поразившая: ведь одно из пророчеств Жанны не сбылось. Где Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в одиннадцатом часу? К этому времени, видите ли, я привык ожидать исполнения всего, что сказано Жанной. Встревоженный и взволнованный такими мыслями, я открыл глаза. И что же? – передо мной стоял сам Паладин, прислонившись к дереву и поглядывая на меня! Как часто бывает, что думаешь или говоришь о каком-нибудь человеке, а сам и не подозреваешь, что он тут как тут! Можно предположить, что ты подумал о нем именно потому, что он находится вблизи, – а вовсе не случайно, как принято объяснять. Как бы то ни было, Паладин стоял, смотря мне прямо в лицо и ожидая, скоро ли я проснусь. Я чрезвычайно обрадовался, увидя его, вскочил на ноги, крепко пожал ему руку, отвел его немного в сторону от нашего лагеря – причем он хромал, словно калека, – и, предложив ему сесть, сказал:

– Откуда же ты свалился как снег на голову? Какими судьбами ты попал сюда? И что значит твой военный наряд? Объясни мне все.

Он ответил:

– Я ехал с вами всю прошлую ночь.

– Да ну!

– И я сказал себе: «Значит, пророчество сбылось хоть наполовину».

– Да. Я поспешил из Домреми, чтобы присоединиться к вам, и едва не опоздал на каких-нибудь полминуты. По правде говоря, я уже опоздал, но усердно упрашивал губернатора, и он был так растроган моим доблестным рвением послужить на пользу отечеству, – таковы были его подлинные слова, – что сдался и позволил мне примкнуть к отряду.

Я подумал: «Это ложь; он – один из тех шести, которых губернатор насильно завербовал в последнюю минуту; я знаю это, потому что по пророчеству Жанны он должен был присоединиться к нам в одиннадцатом часу, – но не по доброй воле». Затем я сказал вслух:

– Очень радуюсь, что ты явился; мы боремся за правое дело, и в наши времена не подобает никому сидеть дома.

– Сидеть дома! Мне так же невозможно было усидеть дома, как грому – остаться в туче, вопреки призыву бури.

– Правильно сказано. И это так похоже на тебя.

Он был польщен.

– Мне приятно, что ты не ошибся во мне. Не все знают меня. Но у них скоро откроются глаза. Они близко узнают меня, прежде чем я успею вернуться из похода.

– Не сомневаюсь в этом. Верю, что при первой опасности ты сумеешь показать себя.

Мои слова очаровали его, и он раздулся, как пузырь. Он сказал:

– Если я знаю самого себя (а мне думается, что знаю хорошо), то мои подвиги во время этого похода не раз заставят тебя вспомнить о своих словах.

– Глупо было бы сомневаться в том. Я верю в тебя.

– Мне, правда, негде будет развернуться: ведь я простой солдат. Тем не менее, мое имя прогремит по всему отечеству. Будь я на своем надлежащем месте, будь я на месте Ла Гира, или Сентрайля, или Бастарда Орлеанского... не стану ничего говорить, я не из породы болтунов, вроде Ноэля Ренгесона и ему подобных, избави боже! Но согласись, ведь это кое-что значило бы, – это поразило бы весь мир, как нечто небывалое, – если бы слава простого солдата вознеслась выше их и своим блеском затмила величие их имен!

– Послушай-ка, друг мой, – сказал я, – знаешь ли, ты набрел на великую мысль! Сознаешь ли ты, какой необъятный простор она откроет тебе? Рассуди: что значит быть прославленным полководцем? Ничего – история битком набита ими; их так много, что всех имен и

в памяти не удержишь. Но простой солдат, прославивший себя до небывалой высоты, будет стоять особняком! Он был бы единственной луной среди небосвода мелких, как горчичное зерно, звезд; его имя переживет человеческий род. Друг мой, от кого ты заимствовал такую мысль?

Он едва не лопался от восторга, но старался, по мере возможности, скрывать свои чувства. Он скромно отмахнулся от похвалы мановением руки и сказал:

– Пустяки. У меня они зарождаются часто, – мысли в таком же роде, – да и еще более величественные. А в этой мысли, по-моему, нет ничего особенного.

– Я поражен. Поистине, поражен. Неужели это ты сам додумался?

– Именно. И там, откуда эта мысль явилась, есть еще большой запас, – тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак набекрень, что придало ему крайне самодовольный вид. – Мне нет нужды пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Ренгесон.

– Кстати, насчет Ноэля, – когда ты видел его в последний раз?

– С пол часа назад. Он дрыхнет вон там, словно колода. Ехал с нами всю ночь.

Сильно забилося мое сердце, и я сказал себе, что теперь я могу успокоиться и возрадоваться и что отныне я никогда не буду сомневаться в пророчествах Жанны. И я произнес:

– Это радует меня. Я могу гордиться нашей деревней. Я вижу, что в нынешние великие времена никакая сила не удержит дома наших львиных сердец.

– Львиное сердце! У кого – у этого молокососа? Да он, словно собачонка, просил отпустить его. Плакал и просился к маме. Это у него-то львиное сердце! У этого олуха!

– Боже мой, а я-то думал, что он записался добровольцем! Неужели нет?

– Ну да, такой же доброволец, как те, что идут к палачу. Делов том, что он еще в Дом-реми узнал о моем желании поступить добровольцем и навязался мне в попутчики, чтобы под моей защитой взглянуть на народ и на всю эту сутолоку. Ну, пришли мы и видим: факелы появились у замка; побежали туда, а губернатор приказал его схватить вместе с четырьмя другими. Он давай проситься, и я тоже просил, чтоб взяли меня вместо него, и в конце концов губернатор позволил мне присоединиться; однако Ноэля не согласился отпустить – слишком уж осерчал на него за то, что он плакса. Да, нечего сказать, много от *него* пользы будет на королевской службе: жрать будет за шестерых, удирать – за десятерых. Ненавижу карликов с половинным сердцем и девятью брюхами!

– Право, я не ожидал такой новости, я этим огорчен и разочарован. Я считал его за очень brave парня.

Паладин с негодованием взглянул на меня и сказал:

– Не понимаю, как ты можешь говорить подобные вещи, положительно не понимаю. Не понимаю, откуда у тебя взялось такое мнение о нем. Я отнюдь не чувствую вражды к нему и говорю так вовсе не из предубеждения, – я не позволил бы себе отнестись к кому-либо с предубеждением. Я люблю его – я чуть не с колыбели был его товарищем, но пусть он не взыщет, если я открыто выскажусь о его недостатках, – а он пусть выскажется о моих, если найдет во мне таковые. И, правду сказать, возможно, что они у меня есть, – но, думаю, они выдержат испытание; так мне кажется. Бравый парень! Послушал бы ты, как он ночью визжал, хныкал, ругался только потому, что седло намозолило ему. Почему седло не намозолило мне? Ба! Мне было так удобно, словно я в седле родился. А между тем я первый раз в жизни поехал верхом. Все старые служивые дивились моей мастерской посадке, говорили, что никогда не видывали такого ездока. А он-то! – они должны были все время поддерживать его.

Среди ветвей пахло благоуханием завтрака; Паладин невольно расширил ноздри, предчувствуя трапезу, – встал и ушел, сказав, что ему надо присмотреть за лошадью.

В сущности, он был славный и добродушный великан, совершенно безвредный, ибо какой вред, если собака лает, лишь бы не кусалась; какой вред, если осел кричит, – лишь бы не лягался. Если у этой огромной туши, состоящей из мякоти, мускулов, тщеславия и глупости, на первый взгляд – злоречивый язык, то что же из этого? Болтовня его, в действительности, была безобидна; к тому же этот недостаток не им самим создан, но воспитан Ноэлем Ренгесоном, который холил его, лелеял, выращивал и совершенствовал – ради собственной забавы. Беззаботному, легкомысленному Ноэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить, подзадоривать, вышучивать; а Паладин только нуждался в некоторой обработке, чтобы пойти навстречу его желаниям. Ну, тот и взялся за обработку, приложил все свои старания и изобретательность и повел дело с усердием комара, гонящегося за быком. Целые годы продолжалось это, в ущерб более важным задачам воспитания. И старания увенчались полным успехом. Ноэлю общество Паладина было дороже всего; Паладин что угодно готов был предпочесть обществу Ноэля. Огромного детину часто видели вместе с этим юрким молодчиком, но происходило это по тем же причинам, по которым быка часто видят в обществе комара.

Как только представился случай, я заговорил с Ноэлем. Поздравив его с началом нашего похода, я сказал:

– Хорошо и доблестно ты поступил, что записался добровольцем, Ноэль.

Он, подмигнув, ответил:

– Да, мне кажется, это было довольно недурно. Впрочем, заслуга-то не вполне моя: мне помогли.

– Кто помог?

– Губернатор.

– Как так?

– Ну, да уж расскажу тебе все, как было. Пошел я из Домреми поглядеть на толпу да на все эти занятные зрелища. Раньше-то мне ничего такого не случалось и видывать, а тут вдруг представилась возможность. Но я вовсе не собирался идти в добровольцы. На полдороге догнал я Паладина и решил во что бы то ни стало осчастливить его своим обществом, хотя он заявил, что вовсе в том не нуждается. И пока мы ротозейничали да шурились от блеска факелов у губернаторского замка, нас с четырьмя другими схватили и присоединили к отряду: теперь ты знаешь, как я стал добровольцем. Но в конце концов я не очень кручинился, вспомнив, как скучно стало бы в деревне без Паладина.

– Как он отнесся к этому? Был доволен?

– Я думаю, он был рад.

– А что?

– Ведь он заявил, что не рад. Видишь ли, его захватили врасплох, и вряд ли он сумел бы без подготовки сказать правду. Я не думаю, впрочем, что он проявил бы откровенность в том случае, если бы имел время на размышление, – я не стану взводить на него такую напраслину. То самое время, которое он употребил бы для придумывания правды, могло бы послужить ему для придумывания лжи; вдобавок, он в этом случае рассуждал бы хладнокровнее и поостерегся бы пускать пыль в глаза столь непривычным способом. Нет, я уверен, что он был рад, так как он говорил, что не рад.

– А по-твоему, он очень обрадовался?

– Очень, – в том нет сомнения. Он униженно молил, ревел, что ему хочется к маме, говорил, что у него слабое здоровье, что он не умеет ездить верхом, что он не переживет и одного дня походной жизни. Но в действительности внешность его вовсе не была так слаба, как его чувства. Неподалеку лежала бочка вина – впору поднять разве четверым. Губернатор рассердился на него, кинул ему проклятие, от которого пыль столбом взлетела, и приказал тотчас приподнять эту бочку, не то, говорит, изрублю тебя на куски и отошлю в корзине

домой. Паладин исполнил, и тогда его без дальнейших рассуждений произвели в рядовые нашего отряда.

– Да, ты очень ясно доказал мне, что он был рад своему производству, – если только верна предпосылка, на которую ты опираешься. Как держал он себя во время переезда в минувшую ночь?

– В том же роде, как я. Если он больше шумел, то не надо забывать, что он и размерами больше меня. Мы оба свалились бы с седел, если бы нас не поддерживали. И оба мы сегодня хромаем в одинаковой степени. Коли ему нравится сидеть – пусть сидит, а я предпочитаю постоять.

Глава IV

Нам приказано было выстроиться, и Жанна сделала нам внимательный смотр. Затем она произнесла небольшую речь, указав, что даже в суровой военной обстановке дело спорится лучше, если избегать ругани и всяких непристойных выражений, и что она предлагает нам помнить и строго применять этот совет. Затем она распорядилась, чтобы новобранцев в течение получаса обучали верховой езде, и приставила, в качестве руководителя, одного из ветеранов. То было смехотворное зрелище, однако мы кое-чему научились, и Жанна осталась нами довольна. Сама она не принимала участия в ученье, но сидела на коне, как воинственное изваяние, не пропустила ни единой подробности урока, но удерживала все в памяти и потом применяла с такой уверенностью и ловкостью, как будто давно преодолела все трудности.

Мы сделали три ночных переезда подряд, по двенадцать-тринадцать миль каждый; ехали мы спокойно, без всяких приключений, так как нас принимали за бродячую шайку «вольных дружинников». Местные крестьяне только о том и молились, чтобы такие гости поскорее проехали мимо. Тем не менее, путь был утомителен и неудобен: мостов встречалось мало, а рек – много; приходилось перебираться вброд и, промокнув в адски холодной воде, располагаться потом на ночлег прямо на замерзшей или покрытой снегом земле; согревайся и спи, как умеешь, – разводить костер было бы опасно. Мы пали духом от всех этих лишений и смертельной усталости, но Жанна не изменилась. Ее походка сохранила свою легкость и уверенность, в ее глазах не потухал огонь. Мы могли только дивиться этому – объяснить не могли.

Но если до сих пор мы терпели лишения, то я не знаю, как уж назвать последовавшие затем пять ночей, когда помимо утомительности путешествия, помимо неизбежности ледяных купаний, нам пришлось вдобавок семь раз спасаться от вражеской засады и потерять при стычках двоих новобранцев и троих опытных солдат. Уже повсюду разнеслась весть, что вдохновенная Дева из Вокулера отправилась с вооруженным отрядом к королю, – и теперь на всех дорогах были устроены дозоры.

Эти пять ночей сильно надломили бодрость отряда. Тревожность положения усилилась, когда Ноэль сделал одно открытие, о котором немедленно сообщил офицерам. Некоторые солдаты ломали головы над вопросом, почему Жанна по-прежнему бодра, подвижна и уверена в то время, как самые сильные мужчины уже утомились от тяжелых переходов и лишений и сделались угрюмы и раздражительны? Вот вам пример, доказывающий, что далеко не все, у кого есть глаза, умеют видеть. Всю жизнь эти люди видели, как женщины впрягаются вместе с волами и тащат плуг, между тем как мужчины правят. Немало видели они и других примеров того, что женщины отличаются большим терпением, выносливостью и бодростью, чем мужчины, – а чему это их научило? Ничему. Как горох об стену. Они так-таки не могли понять, каким образом семнадцатилетняя девушка лучше бывалых воинов переносит лишения походной жизни. Они не могли взять в толк, что великая душа, задав-

шаяся великой целью, может оживить немощное тело и поддерживать в нем силу. А во вселенной нет другой души, столь же великой, как ее. Но как могли бы они все это познать – эти тупоголовые создания? Нет, они ничего не знали, и их рассуждения были сродни их невежеству. Они толковали и спорили друг с другом – Ноэль прислушивался – и пришли к заключению, что Жанна – ведьма и что ее странная отвага и сила исходят от сатаны; и они порешили выждать удобный случай и лишить ее жизни.

Дело принимало очень тревожный оборот, раз в нашем отряде начали возникать подобные заговоры, и рыцари просили у Жанны позволения повесить зачинщиков, но она наотрез отказалась.

– Ни эти люди, ни другие, – сказала она, – не могут лишить меня жизни, пока не свершится то, за чем я послана, а потому надо ли мне обагрять руки их кровью? Я сообщу им о том и предостерегу их. Позовите их ко мне.

Они явились, и она повторила им, почему их замысел невозможен; говорила она с ними так просто и деловито, как будто ей никогда и в голову не приходило, что кто-нибудь может усомниться в ее словах: как сказано, так и будет. На них это заметно подействовало; они были поражены уверенным и убежденным тоном ее речи: смело сказанное пророчество всегда находит отзвук в суеверных ушах. Да, ее речь, очевидно, подействовала на них, но еще большее впечатление произвели ее заключительные слова. Относились они к главному зачинщику, и Жанна произнесла их с грустью:

– Как прискорбно, что ты подготовлял смерть другому, между тем как твоя собственная смерть не за горами.

В ту же ночь, когда мы переправлялись через реку, лошадь этого человека споткнулась и придавила его собой; он утонул прежде, чем мы подоспели на помощь. Заговоры не повторялись.

Этой ночью мы наткнулись на несколько засад, но миновали их благополучно, не потеряв ни одного человека. Еще одна ночь, и, если нам посчастливится, мы выберемся из области, занятой неприятелем; поэтому мы с большим волнением ждали наступления вечера. До сих пор мы всегда с некоторой неохотой выступали в путь, зная, что нам предстоит мерзнуть при холодной переправе или спастись от врага; но на этот раз мы с нетерпением стремились сняться с лагеря и покончить дело разом, – хотя нынче можно было ожидать более частых и упорных стычек, чем во все прежние ночи. Вдобавок, на три лье впереди от нас находился глубокий поток, через который был перекинут непрочный деревянный мост; и так как целый день шел не переставая холодный, мокрый снег, то нам было крайне важно узнать, не приготовлена ли нам ловушка. Если бы вздувшийся от дождя поток смыл этот мост, то мы оказались бы как в капкане: путь к отступлению был бы отрезан. Лишь только стемнело, мы потянулись гуськом из скрывавшей нас лесной чащи и двинулись в путь. С тех пор как наше путешествие начало прерываться стычками с подстерегавшим нас врагом, Жанна всегда занимала место во главе колонны. Так было и на этот раз. К тому времени, как мы прошли около одного лье, снег с дождем превратился в мокрый град, который под напором ветра хлестал меня по лицу точно бичом, и я позавидовал Жанне и рыцарям – они могли ведь, опустив забрало, спрятать голову, как в коробку. Вдруг из кромешного мрака, чуть не над самым ухом, раздался резкий окрик:

– Стой!

Мы повиновались. Впереди нас виднелось что-то смутное и темное; как будто – отряд всадников, но с уверенностью определить было невозможно. Приблизился кто-то верхом на коне и обратился к Жанне голосом упрека:

– Поистине, вы выждали время. А что же вы узнали? По-прежнему ли она позади нас или уже обогнала?

Жанна ответила спокойно:

– Она еще позади.

Эта весть успокоила незнакомца. Он произнес дружелюбнее:

– Если вы уверены в том, то вы не потратили времени понапрасну, капитан. Но наверняка ли вы знаете? Каким образом вы узнали?

– Я видел ее.

– Видели ее? Видели саму Деву?

– Да, я был в ее лагере.

– Возможно ли! Капитан Рэмон, не сердитесь за мою недоверчивость. Вы совершили нечто смелое и поразительное. Где она расположилась лагерем?

– В лесу, на расстоянии не больше лье отсюда.

– Отлично! Я боялся, что она опередила нас, но теперь, раз мы знаем, что она все еще позади, дело в наших руках. Ей не ускользнуть. Мы ее повесим. Вы повесите ее собственноручно. Вам, и никому другому, принадлежит почетное право – уничтожить это пагубное исчадие Сатаны.

– Не знаю, как и благодарить вас. Если мы изловим ее, то я...

– Если! Я уж об этом позабочусь, будьте спокойны. Мне только хотелось бы взглянуть на нее один раз, чтобы узнать, на что похожа ведьма, которая сумела заварить всю эту кутерьму, – а затем всецело предоставляю ее вам и виселице. Сколько у нее людей?

– Я насчитал лишь восемнадцать, но, вероятно, у нее еще было расставлено несколько часовых.

– И все? Да это – сущая безделица сравнительно с нашими силами. Правда ли, что она – молодая девушка?

– Да; не старше семнадцати лет.

– Просто невероятно! Дюжая она или тщедушная?

– Тщедушная.

Офицер подумал минуты две, затем спросил:

– Собиралась ли она сняться с лагеря?

– Когда я видел ее в последний раз – нет.

– Что она делала?

– Спокойно разговаривала с офицером.

– Спокойно? Не делала никаких распоряжений?

– Нет, но беседовала так же спокойно, как я с вами.

– Это хорошо. Напрасно она так уверена в своей безопасности. Знай она, что ей готовится, – сейчас же принялась бы суетиться да бегать, как все бабы, когда нагрянет на них беда. Ну, раз она не делала никаких приготовлений к выступлению в путь...

– Никаких, когда я видел ее в последний раз.

– ...но преспокойно занималась болтовней, – значит, такая погода не пришлась ей по вкусу. Ночное путешествие в бурю и в град не может понравиться семнадцатилетней девочке. Нет, она предпочтет остаться. Спасибо ей. Мы тоже можем сделать привал; здесь как раз подходящее место. Давайте-ка, примемся.

– Если вы прикажете – не смею ослушаться. Но ее сопровождают два рыцаря. Они могут принудить ее отправиться в путь, особенно если погода утихнет.

Я был напуган и с нетерпением ждал, когда же мы выберемся из этой опасности; и мне досадно и мучительно было, что Жанна как будто старается оттянуть время и тем самым усилить опасность. Но все-таки я надеялся, что она лучше знает, как поступить. Офицер сказал:

– В таком случае мы как раз будем здесь на ее пути.

– Да, если они поедут этой дорогой. А что если они пошлют разведчиков и, разузнав кое-что, попытаются пробраться к мосту лесом? Благоразумно ли оставить мост нетронутым?

Офицер подумал немного и сказал:

– Пожалуй, лучше будет послать отряд и разрушить мост. Я хотел было занять его всем своим отрядом, но теперь это ни к чему.

Жанна произнесла спокойно:

– С вашего разрешения, я поеду разрушу мост сам.

Тут я увидел, к чему она все время клонила; и я почувствовал радость, что она так находчива и что она смогла столь хладнокровно обдумать свою мысль перед лицом смертельной опасности. Офицер ответил:

– Не только разрешаю, но и благодарю вас, капитан. На вас-то я могу положиться. Я мог бы послать вместо вас кого-нибудь другого, но лучшего исполнителя мне не найти.

Они отдали друг другу честь, и мы двинулись вперед. Я вздохнул свободнее. Двадцать раз мне уже мерещилось, что сзади слышен топот подъезжающего отряда подлинного капитана Рэмона, и я все время сидел как на иголках, пока тянулся этот нескончаемый разговор. Я вздохнул свободнее, но тревога моя еще не утихла, так как Жанна скомандовала только: «Вперед!» – значит, мы должны были ехать шагом. Ехать шагом через строй вытянувшейся во всю длину и смутно видной вражеской колонны! Мучительна была эта минута напряженного ожидания, хотя и пролетела быстро. Лишь только неприятельский рожок протрубил: «Спешиться!» – Жанна отдала приказ ехать рысью, и тогда я почувствовал большое облегчение. Видите, как она всегда умела владеть собой. Ведь если бы мы помчались мимо шеренги, пока не был дан знак спешиться, то любой человек из их отряда мог бы потребовать у нас пароль; теперь же все видели, что мы отправляемся в назначенное место, согласно предписанию, и нас пропускали беспрепятственно. Чем дальше мы ехали, тем больше развертывались перед нами грозные силы неприятеля. Быть может, их всего-то было не больше двухсот человек, но мне показалось, что их целая тысяча. Я возблагодарил Господа, когда мы миновали последнего из этих людей, и чем больше мы углублялись в темноту, за пределы их стоянки, тем легче становилось мне. Я чувствовал себя спокойным хоть на час; а когда мы подошли к мосту, который оказался еще в исправности, то я успокоился окончательно. Мы перешли по мосту и разрушили его, и тогда я почувствовал... нет, не нахожу слов, чтобы описать, что я тогда почувствовал. Надо самому пережить подобное чувство – иначе не понять.

Мы прислушивались, не гонится ли за нами вражья сила, так как опасались, что вернется настоящий капитан Рэмон и тогда они догадаются, что приняли отряд Вокулерской Девы за свой. Но, по-видимому, он замешкался не на шутку: мы уже возобновили путь по ту сторону реки, а позади ничего не было слышно, кроме неистовства бури.

Я высказал замечание, что Жанна получила целый короб похвал, относившихся, в действительности, к капитану Рэмону, который по своем возвращении найдет лишь сухую мякину упреков, и начальник к тому времени будет уже не так ласков.

Жанна сказала:

– Конечно, так и будет, как ты говоришь. Заслышав впотьмах наше приближение, он наперед решил, что это свои, и не позаботился даже спросить пароль. Затем он собирался расположиться лагерем, сам не сообразив, что надо послать кого-нибудь разрушить мост. А кто сам достоин порицания, тот всегда особенно склонен осуждать чужие промахи.

Сэра Бертрана забавляло простодушие Жанны: она говорила, что надоумила вражеского начальника, как будто она подала ему ценный совет и тем спасла от предосудительной

ошибки. Но в то же время он восхищался находчивостью, подсказавшей ей, как обмануть этого человека, не произнеся ни единого слова лжи⁴. Это смутило Жанну.

– Мне казалось, что он сам обманывается. Я не лгала ему, потому что это было бы нехорошо; но если моя правда обманула его, то она обратилась в ложь, и в таком случае я заслужила хулу. Да вразумит меня Господь, если я поступила несправедливо.

Мы принялись уверять, что она поступила правильно и что ради избегания опасности на войне всегда допустим обман, служащий на пользу себе и во вред врагу; но она не могла вполне успокоиться и утверждала, что даже в том случае, когда опасность грозит великому и правому делу, мы должны сначала испробовать пути благородства. Ее брат Жан возразил:

– Жанна, ты сама сказала нам, что идешь к дяде Лаксару, чтобы ходить за его больной женой, а не сказала, что отправишься дальше; а между тем пошла в Вокулер. Вот видишь!

– Сознаю сама, – грустно ответила Жанна, – я не солгала, но в то же время обманула. Сначала я испробовала все другие средства, но не могла уйти, а *должна* была уйти. Того требовала назначенная мне цель. Я поступила нехорошо и, думается мне, достойна осуждения.

Некоторое время она молчала, обдумывая этот вопрос со всех сторон; затем произнесла со спокойной решимостью:

– Но я поступила так ради честного дела, и в другой раз я повторила бы то же самое.

Нам казалось, что она чересчур щепетильна, но все промолчали. Если бы мы знали ее так же хорошо, как она знала сама себя и как впоследствии доказала история ее жизни, то мы поняли бы, что она сказала истину и что мы заблуждались, думая, будто она стоит наравне с нами. Она была выше нас. Она готова была принести в жертву себя – *лучшую* часть своего я, то есть свою правдивость, – ради спасения дела; но только ради этого: *жизнь* свою она не хотела купить такой ценой. Между тем наша военная этика допускала обман, ради спасения жизни или получения какого бы то ни было преимущества над врагом. Ее изречение показалось нам тогда заурядным, потому что суть заключенной в нем мысли ускользнула от нашего понимания. Но теперь легко видеть, что в этих словах таилось высокое нравственное убеждение, сообщавшее им величие и красоту.

Понемногу ветер затих, и град и снег прекратились, и стало заметно теплее. Дорога лежала через трясины, так что лошадям пришлось пробираться шагом – иначе нельзя было. Медленно тянулось время: не имея сил бороться с усталостью, мы засыпали в седлах. Даже опасность, грозившая со всех сторон, не могла заставить нас бодрствовать.

Эта десятая ночь показалась нам самой долгой; и, конечно, она была тяжелее всех предшествовавших, потому что утомление наше возросло с каждым днем и теперь угнетало нас больше, чем когда-либо. Зато нас больше не беспокоили. Когда наступил наконец бледный рассвет, то мы увидели перед собой реку и знали, что это – Луара; мы вступили в город Жиан и знали, что находимся в дружественной стране, – враг остался позади. То было счастливое утро.

Отряд наш был изнурен, потрепан и невзрачен с виду; но Жанна, как всегда, была и душой и телом бодрее всех нас. В среднем мы каждую ночь проезжали больше тринадцати лье по извилистым и неудобным дорогам. Этот замечательный поход показал, на что способны люди, когда у них есть вождь, беззаветно преданный своей цели и непоколебимый в своей решимости.

⁴ Надо заметить, что в подлиннике разговор Жанны с неприятельским офицером представляется в несколько ином виде, так как английскому языку совершенно не свойственны родовые окончания. Таким образом, все ответы Жанны могли быть поняты и в мужском, и в женском роде, когда она говорила о себе.

Глава V

По прибытии в Жиан, мы впервые два или три часа посвятили отдыху и вообще занялись восстановлением своих сил. Но за это время успела распространиться молва, что приехала та Дева, которая послана Богом для спасения Франции. И тотчас начался такой наплыв народа, желавшего взглянуть на нее, что благоразумие заставило нас искать более укромное место. Поэтому мы выехали и сделали привал в небольшой деревне, называвшейся Фьербуа.

Теперь мы были в шести лье от замка Шинон, где находился король. Жанна сейчас же продиктовала мне письмо к нему. Она говорила, что совершила путь в полтораста лье, чтобы сообщить ему хорошие вести, и просила разрешения передать ему эти вести с глазу на глаз. Она добавила, что хотя никогда не видела его, однако сразу его узнает и сумеет отличить, даже если бы он переоделся в чужое платье.

Оба рыцаря тотчас же отправились с этим письмом. Наш отряд спал все время после полудня, а после ужина мы порядочно-таки приободрились и развеселились, в особенности наш кружок молодых домремийцев. Нам была предоставлена уютная столовая деревенской харчевни, и первый раз за все эти бесконечные десять дней мы были избавлены от тревог, ужасов, лишений и утомительных трудов. Паладин вдруг снова стал самим собой, каким мы знали его прежде, и чванно разгуливал взад и вперед, как живое олицетворение самодовольства. Нозль Ренгесон заметил:

– Я просто диву даюсь, как славно он нас выручил из беды.

– Кто? – спросил Жан.

– Да Паладин.

Паладин прикинулся глухим.

– Он-то тут при чем? – спросил Пьер д'Арк.

– При всем. Только вера Жанны в его осторожность и дала ей возможность сохранить самообладание. Насчет смелости она могла бы понадеяться на нас и на себя, но осторожность – первейшее дело на войне, в сущности-то говоря: осторожность – это редчайшая и высочайшая добродетель, а у Паладина ее хоть отбавляй – больше, чем у любого француза; больше, пожалуй, чем у шести десятков французов.

– Ну, ты опять норовишь дурака валять, Нозль Ренгесон, – отозвался Паладин. – Тебе следовало бы обмотать вокруг шеи свой длинный язык да заткнуть конец его себе в ухо, а то как бы тебе не попасть в беду.

– Вот уж не знал, что в нем больше осторожности, чем у других людей, – сказал Пьер. – Ведь для осторожности нужна смекалка, а у него, я думаю, мозгов ничуть не больше, чем у любого из нас.

– Ошибаешься. Осторожность не имеет никакого отношения к мозгам; для нее мозги скорее являются помехой, потому что она не рассуждает, но чувствует. Высочайшая степень осторожности указывает на отсутствие мозгов. Осторожность есть свойство сердца – только сердца; мы повинемся ей в силу чувства. Это видно из того, что, если бы она была свойством разума, она заставляла бы видеть опасность только там, где опасность действительно налицо; между тем...

– Охота вам слушать, что он мелет, проклятый олух! – пробурчал Паладин.

– ...между тем как осторожность, являясь исключительно качеством сердца и руководясь чувством, а не разумом, преследует более широкие и возвышенные цели и чутко подмечает и предупреждает такие опасности, которых в действительности и в помине нет. Как, например, давеча ночью, когда Паладин среди тумана принял уши своей лошади за неприятельские копыта и, соскочив, взобрался на дерево...

– Это ложь! Ложь, ни на чем не основанная! Послушайтесь моего совета, не верьте злым выдумкам этой ехидной трещотки: он из года в год прилагал все старания, чтобы очернить меня, а потом примется злословить и на вас. Я слез с лошади, чтобы подтянуть подпругу, – провалиться мне, если это не так, хотите – верьте, не хотите – не надо.

– Вот он всегда таков: ни о чем не может спорить спокойно, но сразу идет напролом и становится строптивым. А замечаете, какая у него плохая память? Он помнит, что соскочил с лошади, но забыл обо всем остальном, даже о дереве. Впрочем, это естественно: он помнит, как спрыгнул с лошади, потому что это вошло у него в привычку. Он всегда поступал так, лишь только в передних рядах поднималась тревога и раздавался лязг оружия.

– Чего ради он слезал с лошади именно в такое время? – спросил Жан.

– Не знаю. По его мнению, чтоб подтянуть подпругу; по моему мнению – чтобы взобраться на дерево. В одну из ночей он на моих глазах девять раз взбирался на дерево.

– Ничего подобного ты не видал! Кто так нагло лжет, тот не достоин уважения. Предлагаю всем вам ответить на мой вопрос: верите ли вы словам этой змеи?

Видно было, что все пришли в замешательство. И только Пьер ответил неуверенно:

– Я... право, я не знаю, что сказать. Вопрос-то щекотлив. Как-то неловко не поверить человеку, когда он говорит напрямик; однако принужден сознаться, – хоть это не совсем вежливо, – что я не могу принять на веру его слова целиком. Нет, я не могу поверить, что ты вскарабкался на девять деревьев.

– Ну вот! – вскричал Паладин. – Небось самому стыдно стало, Ноэль? А сколько раз я взбирался на деревья, как ты полагаешь, Пьер?

– Только восемь раз.

Хохот, покрывший эти слова, довел Паладина до белого каления, и он сказал:

– Придет и мой черед – придет и мой черед! Рассчитаюсь с вами со всеми, можете на это положиться.

– Не трогайте его, – предупредил нас Ноэль. – Он делается настоящим львом, если его раздражить. После третьей стычки я убедился в этом воочию. Когда сражение окончилось, то он вышел из кустов и напал на убитого один на один!

– Новая ложь! Остерегись – ты зашел слишком далеко. Будь благоразумнее, а не то тебе придется увидеть, как я нападаю на живого.

– То есть на меня. Этим ты уязвил меня больше, чем всеми своими несправедливыми и грубыми речами. Какая неблагодарность к своему благодетелю...

– Благодетелю?.. А чем я обязан тебе, желал бы я знать?

– Ты обязан мне жизнью. Я стоял между неприятелем и твоими деревьями и оттеснял сотни и тысячи врагов, жаждавших твоей крови. И делал я это не ради похвальбы своею доблестью, но ради того, что я тебя люблю и не мог бы без тебя жить.

– Ну, будет тебе, замолчи! Я не желаю оставаться здесь долее и внимать такому глумлению. Я еще мог бы стерпеть твою ложь, но никак не любовь твою. Побереги эту отраву для кого-нибудь не столь брезгливого, как я. И прежде чем уйду, скажу вам вот что: во все время похода я скрывал свои подвиги, дабы не затемнять ваших крохотных отличий, но дать вам возможность приумножить свою скудную славу. Я всегда устремлялся вперед, где шла самая жаркая сеча, потому что я хотел быть вдали от вас: иначе вы увидели бы, как я повергаю врага, и убоялись бы, осознав свое бессилие. Я твердо вознамерился хранить эту тайну в груди своей, но вы побудили меня открыться. Если нужны вам свидетели, то поищите их вдоль пройденной нами дороги, – там лежат они. На той дороге была грязь непролазная – я вымостил ее телами убитых. Бесплодна была земля в окрестной стране – я удобрил ее кровью. То и дело меня просили удалиться из передовых рядов, потому что некуда было двинуться из-за множества моих жертв. И ты – ты, неверный! – утверждаешь, будто я влезал на деревья! Стыдись!

И он удалился, преисполненный величия, потому что перечень воображаемых подвигов успел вновь воодушевить и умиротворить его.

На другой день мы оседлали коней и двинулись к Шинону; Орлеан был теперь невдалеке позади нас – он задыхался в когтях англичан. Бог даст, скоро направим путь туда и поспешим на выручку. Из Жиана пришла уже весть и в Орлеан, что крестьянская Дева из Вокулера идет спасать осажденный город. Это известие вызвало большое волнение и породило великую надежду – в первый раз за пять месяцев эти бедняги увидели луч надежды. Они тотчас послали гонцов к королю, прося его взвесить это дело по совести и не отвергать такой помощи, как что-то ненужное. Гонцы эти теперь уже находились в Шиноне.

На полпути к Шинону мы опять наткнулись на вражеский отряд, который неожиданно показался из лесной чащи; вдобавок силы неприятеля были значительны. Но теперь мы были уже не новички, как девять или двенадцать дней назад; мы успели привыкнуть к подобным приключениям. Душа у нас не ушла в пятки, оружие не дрогнуло в руках. Мы приучились всегда быть готовыми к бою, всегда владеть собою и всегда встречать отпором любую опасность. Появление врагов встревожило нас не более, чем нашу предводительницу. Прежде чем они успели выстроиться, Жанна скомандовала: «Вперед!» – и мы ринулись прямо на них. Они не ожидали натиска; они показали тыл и рассеялись во все стороны, и мы на скаку опрокидывали их, точно соломенных людей. То была последняя засада на нашем пути; и подготовлена она была едва ли не самим де ла Тремуйлем, этим негодяем-предателем, министром и фаворитом короля.

Остановились мы в гостинице. И вскоре начало стекаться население всего города, чтобы взглянуть на Деву.

О, несносный король и несносный народ его! Наши два добрых рыцаря явились доложить Жанне об исходе своего поручения – явились негодующие. Они и мы все почтительно стояли, – как надлежит стоять в присутствии королей и тех, кто выше их, – пока Жанна не пригласила нас сесть; она была встревожена этим знаком внимания и уважения, не одобряла его и не привыкла к нему, хотя мы в ее присутствии не осмеливались держаться иначе с тех пор, как она предсказала смерть несчастного изменника, который утонул в тот же час, – мы убедились тогда окончательно, что она посланница Бога. Сэр де Мец начал:

– Король получил письмо, но нам не позволят говорить с ним лицом к лицу.

– Кто же запрещает?

– Никто не запрещает, но ближе всех стоят к нему три или четыре царедворца, – каждый из них предатель и интриган, – и они ставят всякие препятствия, пускаются на разные хитрости и пользуются лживыми предложениями, лишь бы только оттянуть дело. Главные из них – Жорж де ля Тремуиль и эта лукавая лисица, архиепископ реймский. Покуда король, благодаря их стараниям, бездействует да развлекается охотой да бражничаньем, они сильны и положение их тем прочнее. Если же он воспрянет, образумится и, как подобает мужу, обнажит меч на защиту страны и короны, то их могуществу наступит конец. Им лишь бы самим благоденствовать, а там – пусть погибнет страна, пусть погибнет король: это их не тревожит.

– Говорили вы с кем-нибудь, кроме них?

– Ни с кем из придворных; ведь придворные – покорные рабы этих змей; они перенимают их слова и поступки, соображаются с их действиями, думают по их указке и вторят их речам. А потому все относится к нам холодно; поворачиваются спиной и отходят в сторону при нашем появлении. Но мы говорили с посланцами из Орлеана. Они заявили с горячностью: «Удивительно, как это человек, находящийся в столь отчаянном положении, как король, может праздно и безучастно стоять в стороне; он видит гибель всего своего достоинства – и палец о палец не ударит, чтобы остановить беду. Какое странное зрелище! Вот он заперт в крохотном уголке своего королевства, словно крыса в западне. Королевским дворцом ему служит этот огромный, унылый, как гробница, замок; там вместо занавесей

– истлевшие тряпки, вместо убранства палат – развалившаяся мебель; там воистину царит мерзость запустения. В его казне сорок франков – ни сантима больше, Бог свидетель! У него нет войска и неоткуда достать его; и рядом с таким голодным убожеством вы видите этого бездержавного нищего, окруженного толпами шутов и любимых царедворцев, – все они разодеты в самые пышные шелка и бархат, каких не встретишь ни при одном дворе христианского мира. И ведь он знает, что с падением Орлеана – падет *Франция*; он знает, что, лишь только час пробьет, он превратится в беглеца и изгнанника и что в покинутой им стране над каждым клочком его великого наследства будет победоносно развеяться английское знамя; он знает все это, знает, что наш доблестный город совершенно одиноко, без всякой поддержки, борется с болезнями, голодом и нашествием, в надежде отвлечь грозное бедствие; и тем не менее он отказывается нанести хотя бы единый удар, чтобы спасти город, он не хочет слышать наши просьбы, он даже не хочет видеть нас». Вот что сказали мне посланцы; они уже перестали надеяться.

Жанна мягко возразила:

– Как печально! Но они не должны отчаиваться. Дофин вскоре пожелает их выслушать. Передайте им это.

Она почти всегда называла короля дофином. По ее мнению, он, как не коронованный, еще не был королем.

– Мы передадим им, и эти слова успокоят их, так как они верят, что ты послана Богом. Архиепископ и его единомышленник опираются на этого старого воина, Рауля де Гокура, великого дворецкого. Человек он честный, но солдат и больше ничего; возвышенное недоступно его уму. Он не в состоянии понять, как это деревенская девушка, ничего не знающая в военном деле, возьмет в маленькую руку тяжелый меч и станет одерживать победы там, где полвека подряд опытные французские полководцы ничего не ждали, – и не находили, – кроме поражений. И он топорщит свои седые усы и подтрунивает.

– Когда сражается Господь, то не важно, большая или малая рука возьмется за Его меч. Со временем он убедится в этом. Есть ли в Шинонском замке хоть один наш доброжелатель?

– Да, – теща короля, Иоланта, королева Сицилии: она исполнена мудрости и доброты. Она беседовала с сэром Бертраном.

– Она сочувствует нам и ненавидит всю эту толпу королевских тунеядцев, – сказал Бертран. – Она проявила живую любознательность и осыпала меня тысячей вопросов, и я отвечал ей все, что знал. Затем она погрузилась в задумчивость и долго сидела неподвижно, так что я предположил, что она задремала и не скоро очнется. Но я ошибся. Она наконец заговорила, медленно, как бы беседуя с собой: «Ребенок семнадцати лет... девочка... выросла в деревне... не училась... не знает, как воевать, как обращаться с оружием, как руководить битвами... скромная, кроткая, боязливая... И вот она бросает в сторону свой пастушеский посох, надевает стальную кольчугу и мечом прокладывает себе путь через занятую неприятелем область, не теряя ни мужества, ни надежды, не зная страха... и приходит за полтора года к королю... она, которой надлежало бы трепетать и страшиться в присутствии короля... приходит, чтобы стать перед ним и сказать: «Не бойся! Господь послал меня спасти тебя!..» Ах, откуда может взяться такая вдохновенная отвага и убежденность, как не от самого Господа!» Она снова умолкла и задумалась, собираясь с мыслями, потом сказала: «Послана она Богом или нет, но есть в ней нечто, возвышающее ее над людьми, – над всеми людьми нынешней Франции; она – носительница того таинственного дара, который способен одушевить солдат и превратить трусливую толпу в доблестную рать, не знающую страха, – в войско, что идет на битву с радостью в глазах и с песнями на устах и, подобно буре, налетает на врага... Этим именно воодушевлением может спастись Франция – и только им, откуда бы оно ни исходило! В ней есть этот вдохновенный огонь, – я твердо верю, – ибо что другое могло поддерживать отвагу в этом ребенке и заставить ее презреть все опасности утомитель-

ного похода? Король должен увидеть ее лицом к лицу – и это будет!» Она отпустила меня с этими милостивыми словами, и я не сомневаюсь, что ее обещание будет исполнено. Они – эти животные – будут мешать ей всеми средствами, но в конце концов она восторжествует.

– Ах, кабы *она* была королем! – произнес с жаром другой рыцарь. – Слишком мало надежды, что самого короля удастся пробудить от спячки. Он окончательно махнул рукой на все и только о том и помышляет, как бы ему оставить все на произвол судьбы и убежать в другую страну. Посланцы говорят, что он находится во власти каких-то чар, убивающих в нем всякую надежду, что над всем этим тяготеет какая-то тайна, которую они не могут разгадать.

– Я знаю эту тайну, – сказала Жанна со спокойным убеждением. – Тайна эта известна мне и ему, а кроме нас – только Богу. Увидевшись с ним, поведаю ему нечто сокровенное, что развеет его тревогу, – и тогда он снова поднимет голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.